ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Проф. А. Е. ПРЕСНЯКОВ

АЛЕКСАНДР I

ПЕТЕРБУРГ
ИЗДАТЕЛЬСТВО БРОКГАУЗ-ЕФРОН
1924


БРОКГАУЗЪ-ЕФРОНЪ
С.П.Б.

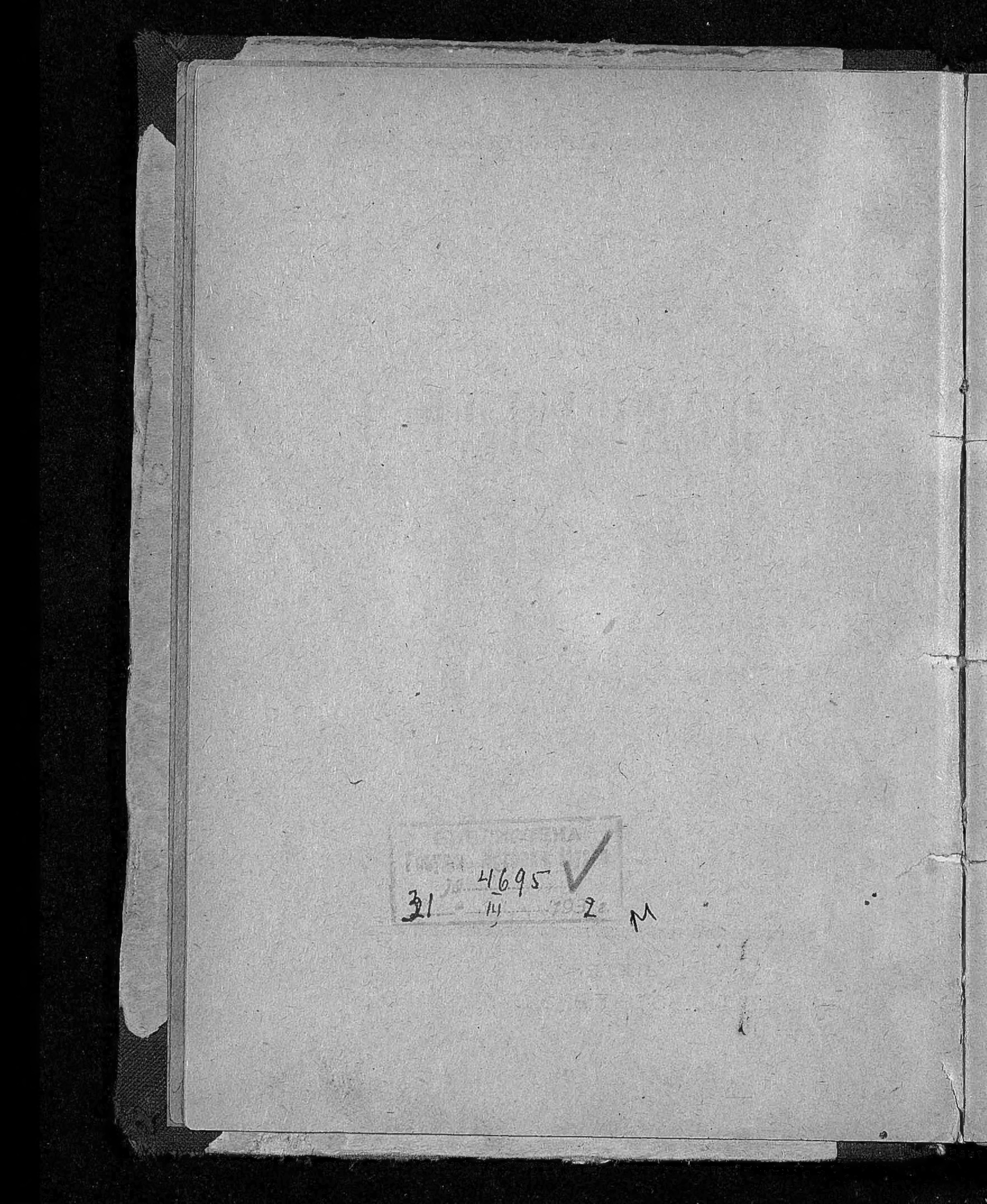
ТИПОГРАФИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА
БРОКГАУЗ-ЕФРОН
ПЕТРОГРАД, ПРАЧЕШНЫЙ, 6.

Петрооблит № 11006. Напечатано 300

Проф. А. Е. ПРЕСНЯКОВ

АЛЕКСАНДР I

ПЕТЕРБУРГ
ИЗДАТЕЛЬСТВО БРОКГАУЗ-ЕФРОН
1924


4695
31 14 1952
M

Первая четверть 19-го века — наиболее сложный, насыщенный противоречиями и своеобразным драматизмом период в истории императорской России. Общую характеристику этого периода можно бы озаглавить: „Россия на распутьи“ — между самодержавно-крепостническим строем русской государственности и русских общественных отношений, и поисками новых форм социально-политической организации страны, соответственно назревшим и остро-ощутимым потребностям развития ее материальных и культурных сил. В центре интереса к этой эпохе стоит у историков личность императора Александра I, независимо от того, преувеличивают ли они роль личности властителя в судьбах страны, или ставят ее в надлежащие рамки, как создание условий данного времени, как индивидуальную призму, сквозь которую можно рассмотреть скрещение, в определенном, конечно, преломлении, тех или иных основных жизненных тенденций данной эпохи. Личная психология Александра, которой больше всего занималась наша историография, представляется, обычно, крайне неустойчивой, путаной и противоречивой; такой казалась она и его современникам, даже близко его знавшим, хотя не всем и не всегда. Прозвали

его „северным сфинксом“, точно отказываясь разгадать его загадку. Эти отзывы любопытны и ценны, при всей своей неопределенности и своих противоречиях, как отражение того бытового впечатления, какое производил Александр на всех, имевших с ним дело, на каждого по своему. Это-то впечатление и стараются уловить его биографы, на нем пытаются построить характеристику своего героя, а, вернее сказать, свое личное суждение о нем и впечатление от него, всматриваясь в его слова и действия, вчитываясь в его письма и в рассказы мемуаристов или авторов различных „донесений“ заграницу о его беседах и настроениях.

А, между тем, Александр I — подлинно „историческая“ личность, т.-е. типичная для своего времени, чутко и нервно отразившая в себе и силу сложившихся традиций, и нараставшую борьбу с ними, борьбу разнородных тенденций и интересов, общий эмоциональный тон эпохи и ее идеологические течения. Отразила их, как всякая личность, по своему, субъективно, и притом в сложнейших условиях деятельности носителя верховной власти в эпоху напряженнейшей внешней и внутренней борьбы такого типичного „переходного“ времени от расшатанного в основах, но еще очень крепкого старого, веками сложившегося уклада всей общественной и государственной жизни к назревавшему, еще слабому, но настойчиво-требовательному новому строю всех отношений, как первая четверть 19 века. Александр I —

„прирожденный государь“ своей страны, говоря по-старинному, воспитанный для власти и политической деятельности, поглощенный мыслью о ней с детских лет, а в то же время — питомец 18-го века, его идеологического и эмоционального наследия, и вырос и вступил в жизнь для трудной, ответственной и напряженной роли правителя в бурный и сложный момент раскрытия перед сознанием правящей среды глубоких и тягостных противоречий русской действительности. Драма русской исторической жизни, как и его личная, разыгрывались в тесной связи и на общем фоне огромного европейского кризиса наполеоновской эпохи. Его „противоречия“ и „колебания“ были живым отражением колебаний и противоречий в борьбе основных течений его времени. Более восприимчивый, чем творческий, темперамент сделал его особенно человеком своего времени. Только на фоне исторической эпохи становится сколько-нибудь понятной индивидуальная психология таких натур.

1.

Российская империя в александровскую эпоху.

К исходу 18-го века только сложилась Европейская Россия в своих „естественных“ границах от моря и до моря. Закончена вековая борьба за господство на восточном побережьи Балтийского моря (присоединение его северного, финляндского края, выполненное Александром I, имело лишь второстепенное значение упрочнения и обороны этого господства); закончена была борьба и за Черноморье, оставив в наследие преемникам Екатерины II „вопрос о проливах“; разделы Польши закончили вековую борьбу за Поднепровье, географическую базу всего господства над восточно-европейской равниной, хотя и с отступлением от петровского завета русскому империализму — сохранить всю Польшу опорой общеевропейского влиянии России. Основные вопросы русской внешней политики были исчерпаны в их вековой, традиционной постановке, связанной со стихийным, географически обусловленным стремлением русского племени и русской государственности заполнить своим господством великую восточно-

европейскую равнину, овладеть ее колонизационными и торговыми путями для прочного положения в системе международных, мировых отношений Запада и Востока.

Территория Европейской России стала государственной территорией Российской империи. Обширность пространства, значительное разнообразие областных условий, экономического быта и расселения, племенных типов и культурных уровней — сильно усложняли задачу организации управления. Захват территории был только первым шагом к утверждению на ней устойчивой и организованной народно-хозяйственной и гражданской жизни. Само распределение по ней населения было еще в полном ходу. Переселенческое движение — столь характерное явление в быту русских народных масс — развертывалось не только в первой четверти, но и в течение большей части 19-го века, преимущественно в пределах Европейской России. На Юг, в Новороссию, на Юго-восток, к Прикавказью и нижнему Поволжью, отливают с Севера и Запада все новые элементы. „Новопоселенные“ в этих областях, „сходцы“ и „выходцы“ составляют значительный, даже преобладающий процент местного населения. И на новых местах они оседают не сразу, а ищут, в ряде повторных переходов, лучших условий хозяйственного обеспечения и бытового положения. Эта неизбежная подвижность населения стоит в резком противоречии со стремлением центральной власти к установлению повсе-

местно порядков „регулярного государства“ на основе закрепощения трудовой массы и стройно организованных губернских учреждений. Русское государство все еще в строительном периоде. Оно строится в новых, расширенных пределах приемами, окрепшими и созревшими в Великороссии, — на основе государственного „крепостного устава“ [1]). Процесс закрепощения, завершенный для центральных областей первыми двумя ревизиями 18-го века, систематически проводится в малороссийских и белорусских губерниях на основе 4-й и, особенно, 5 ревизии, рядом правительственных указов в развитие и дополнение основного акта — указа 1783 г., о прекращении „своевольных переходов“, которыми — по мнению верховной власти — нарушалось „водворяемое ею повсюду благоустройство“. Эта борьба государственной власти со всеми более или менее уцелевшими элементами „вольности“ в составе населения настойчиво завершалась при Александре I на всей территории империи — в Малороссии, потерявшей характер автономной провинции, в Новороссии и Белоруссии; завершалась торопливо, с назначением краткого — годичного — срока на подачу исков для „отыскания свободы от подданства помещикам“, по истечении которого все сельское население закрепощалось по записям в пятой ревизии.

[1]) Ср. мою статью „Закрепощение в императорской России“ — Архив истории труда, кн. 4.

Массовое закрепощение „вольного“ люда рассматривалось, как водворение „благоустройства“, как основа государственного строительства. Объединение обширной территории укреплялось повсеместным насаждением губернской власти, обычной для 36 центральных губерний, усиленной в форме генерал-губернаторств и военных губернаторств для остальных областей [1]). Углублялась эта административная спайка всех частей имперской территории традиционными для центра социально-экономическими связями помещичьего землевладения и крепостной организации сельского хозяйства. По областям-окраинам растет и крепнет не только местное помещичье землевладение; сильное развитие получает крупное землевладение дворянства вельможного, столичного — по связям его с властным правительственным центром — и в Малороссии и, особенно, в областях, захваченных в эпоху польских разделов из состава бывшей Речи Посполитой. Раздача крупных населенных имений связывает материальные фамильные интересы правящего общественного слоя с завоевательной политикой центральной власти, развивает и питает в его среде воинственный, наступательный патриотизм, а затем тенденцию к безусловному подчинению присоединенных областей, с устранением

---

[1]) С 1815 г. в России было 12 генерал-губернаторств и военных губернаторств, не считая особого управления столиц, а также военных управлений земли Войска Донского и Кавказа.

их местных „привилегий“, общему для всего государства шаблону не только управления, но и землевладельческих, социально-экономических отношений.

Российскую империю строила дворянская, крепостническая Россия. Но развитие внутренних сил страны требовало уже иных, более сложных приемов, не укладывавшихся в тяжкие традиционные рамки крепостного хозяйства и „крепостного устава“. Закрепление за империей черноморского юга принесло решительное углубление и усиление тяги России к торговым связям с общеевропейским, мировым рынком. Конечно, подавляющее значение Балтийского моря в русской внешней торговле остается в силе в течение всей первой половины 19-го века. Но русская экономическая политика прибегает со времен Екатерины II, с первых моментов утверждения России в Черноморьи, к ряду мер покровительства для развития южного, черноморского торга. Сама колонизация края и систематическое его огосударствование, уничтожение Запорожской Сечи, подчинение донского казачества военной администрации, как иррегулярной боевой силы, упразднение всяческой „вольности“ на южных пространствах империи — связаны не только с организацией разработки местных почвенных богатств в привычных формах крепостного хозяйства, но не менее — с насаждением в новоустрояемом краю гражданского порядка и казенного благоустройства, как основы для южных торговых путей и черноморской заграничной торговли. Императорская

Россия, еще Петром возведенная в ранг первоклассной европейской державы, усиленно стремится сохранить, утвердить и развернуть это свое международное значение, закрепляя его политические формы своей внешней политикой и расширяя его хозяйственную базу своей политикой экономической. Внутреннее развитие страны тесно связано с этими ее внешними отношениями. Возможно большее их расширение и углубление — неизбежный путь к росту ее производительных сил, ее материальной и духовной культуры, в частности — расширение торгового обмена. „Отпуск собственных произведений" — говорил первый министр вновь учрежденного в 1802 г. министерства коммерции гр. Н. П. Румянцев — „оживотворяет труд народный и умножает государственные силы". Открыть возможно шире для внешней торговли южный морской путь представлялось делом крайне заманчивым, особенно при тягостном для нее испытании в континентальной блокаде (1807 — 1811), когда и фактически несколько оживилось движение товаров через южные порты и сложились планы о портофранко для Одессы, Феодосии, Таганрога. С мыслью об этих южных портах связывались планы об усилении хлебного экспорта, который занимал весьма незначительное место в тогдашней русской торговле, и даже об активной роли России в торговом обмене между Европой и Азиатским Востоком. Весьма было министерство торговли озабочено также усилением торга по сибирским путям с Китаем, созданием

транзитной торговли со Средней Азией и далее через нее, с далекой Индией.

Невелики были результаты всех этих опытов, порывов и проектов, по крайнйй мере, для относительного веса России в мировом обороте; 3,7 процента — в начале 19 в., 3,6 — в его середине: таковы цифры русской доли в этом обороте, по известным исчислениям Гулишамбарова [1]). Сравнительно незначительным был и рост русского вывоза за 25 лет александровского царствования [2]). Русский торговый капитал и русская предприимчивость, им обусловленная, были слишком слабосильны для такого размаха. Внешняя торговля остается, преимущественно, пассивной. Не имея своего торгового флота, сколько-нибудь стоющего такого названия, Россия не только на Балтийском море была по части транспорта в руках иностранцев, преимущественно англичан, но и на Черном обходилась греческими и турецкими судами, хотя бы часть их плавала под русским флагом. Ведь даже в Азии русская торговля была почти целиком в руках армянских, бухарских, персидских купцов.

[1]) Как и для конца 19 в. всего 3,4 процента. — См. статью „Всемирная торговля" в томе „Россия" Энц. словаря „Брокгауз-Эфрона".

[2]) С 75 на 85 мил. руб. золотом, примерно. Цифры в ассигнациях — с 63 на 207 мил., приводимые Н. Н. Фирсовым в его очерке: „Зарождение капитализма и первый приступ к революции в России в первой четверти 19 в." — зависят от падения курса и потому не показательны.

Конечно, сугубо отражалось на русской торговле почти монопольное вообще господство Англии в мировом обороте. Единственная — в первой четверти 19 века — страна крупного машинного производства, Англия снабжала все страны своими изделиями. Для этой промышленности ей нужен был обширный ввоз различного сырья. А сырьем ее снабжала в значительных размерах, наравне с британскими колониями, Россия. Она же, также наравне с колониями, являлась значительным рынком сбыта произведений английской промышленности. В таком обмене Англия даже не теряла, если торговый баланс оказывался в пользу России: этим только увеличивалась покупательная сила контрагента. По всему складу русского социально-экономического быта этим контрагентом Англии было, преимущественно, русское крупное землевладение. Дворяне-помещики сбывали заграницу продукты своего хозяйства, а из Англии получали сукно и тонкое полотно, мебель и посуду, украшения быта и писчебумажные принадлежности, всю обстановку барской жизни. Зарождавшаяся русская фабрично-заводская промышленность работала английскими машинами, а свои полуфабрикаты сбывала опять-таки в Англию, вывозившую, например, много русского железа, чтобы сбывать на русском же рынке свои законченные изделия. Англомания, широко распространенная в высших слоях русского общества начала 19 века, имела значительную материальную основу — экономическую

и бытовую — в интересах, вкусах и привычках русского дворянства. Подобно тому, как в начале 18 века Голландия служила образцом — почти воплощенным идеалом — страны с высоким уровнем народного богатства, техники и экономики, общественной и духовной культуры, так, и в еще большей мере, Англия стала, к исходу 18 века, обетованным краем высокой культуры и политического благоустройства для наиболее влиятельных, крупно-землевладельческих групп русского дворянства. В той же среде были весьма популярны политические идеи Монтескье, сквозь призму которых наши англоманы обычно смотрели и на английские учреждения. В применении новых политических представлений к русской действительности большую роль играло различение, согласно Монтескье, между деспотизмом и монархией: задачей желаемого преобразования русского государственного порядка ставилось устранение „самовластия“ и утверждение начал „истинной монархии“, что означало, в их понимании, устранение личного произвола с подчинением действий верховной власти основным действующим законам империи (в том числе жалованной грамоте дворянству 1785 года, которой его привилегии были утверждены „на вечные времена и непоколебимо“) под активным контролем правительствующего сената, полномочия которого должны быть также оформлены „основным“ законом, а политическое влияние усилено не только несменяемостью сенаторов, но и их избранием из состава „знатного

сословия", не столько вообще дворянства, сколько его вельможных слоев — правящих групп высшей дворянской бюрократии. Этот своеобразный, весьма умеренный конституционализм российских ториев был по заданиям своим глубоко консервативен, имел целью закрепить в формах политической организации и „основного" законодательства достигнутое в 18 веке преобладание дворянства над государственной властью, и вводил в свою идеологию элемент некоторого формального ограничения самодержавной власти, отнюдь не пытаясь ослабить по существу эту свою опору, пока она послушно обслуживает данные классовые интересы; он был европеизированным на английский манер и с помощью французской теории о дворянстве, как основе „истинной монархии", о парламентах, как контрольном аппарате закономерности в деле государственного управления (тут их роль переносилась на сенат), плодом традиций 18 века, подобно тому, как в начале века те же притязания искали опоры в усвоении форм шведской аристократической конституции.

Однако, нараставшее усложнение жизни обширной страны повело значительно дальше брожение новых политических идей в русской правящей среде. Чем напряженнее работала правительственная машина страны, вовлеченной в расширенный экономический и политический оборот Европы, чем сложнее становились задачи управления, государственного хозяйства и экономики разросшейся империи, тем ощути-

тельнее становились коренные противоречия между все нараставшими потребностями обширного государства и дозревавшим в его недрах вековым строем самодержавной власти и крепостного хозяйства. Несоответствие этим потребностям уровня материальных и культурных средств — эта неизбывная, поистине трагическая черта всей русской исторической жизни — рано выдвинула тройственный лозунг новой политики, новых исканий: торговлю, промышленность, просвещение. Бесплодные, по существу, попытки Петра I и Екатерины II „создать" на Руси сильную и активную городскую буржуазию, сорганизовать из русских посадских настоящий класс „третьего чину людей" беспощадно разбивались о крепостной уклад русского народного хозяйства; медленно нарастал сколько-нибудь значительный торговый капитал на основе помещичьей и крестьянской торговли; более крупные коммерческие предприятия, ориентированные на заграничный сбыт, искали опоры в крупных землевладельцах, если не были прямо ими организованы, требовали казенной поддержки в виде монополий и разных привилегий, и попадали в зависимость от иностранного купечества. „Оживотворение труда народного" внешней торговлей, о котором толковал министр коммерции, сказывалось постепенным перерождением крепостного хозяйства в предприятие, работающее на рынок, деятельным участием помещиков и их оброчных крестьян („крестьян-капиталистов", как означали их в некоторых

барских конторах) в развитии торговли и промышленности. Внешняя торговля ставила русской промышленности ее наиболее устойчивые задачи, ограничивая ее рост непосильностью конкурренции с иностранным ввозом, несмотря на покровительственную политику правительства. Русская промышленность росла и крепла, с трудом пуская корни в крепостнической народно-хозяйственной почве, сохраняя зависимость от государственного и помещичьего хозяйства, которые и поддерживали и тормозили ее самостоятельное развитие. В такой социально-экономической обстановке туго приходилось и государственным финансам; общая доходность народного хозяйства непрерывно отставала от роста их запросов; фискальный мотив определял, в первую очередь, экономическую политику власти, искавшую расширенной и более выносливой базы для государственного хозяйства, чем крепостническая сельскохозяйственная экономика страны. Подъем материальных и культурных ее средств до уровня западно-европейских стран стал заветной руководящей мыслью правительственной власти, проникшейся идеалом „просвещенного абсолютизма“ и сознававшей себя передовой, творческой силой в отсталой и косной общественной среде. Преобразовать эту среду в „новую породу людей“, пробудить ее силы разумным просвещением — казалось делом возможным и насущным; но и в этой сфере проектов и опытов создания системы всенародного образования „от азбуки для университета включи-

тельно", как писала имп. Екатерина одному из своих заграничных корреспондентов, на первых же шагах пробуждалось сознание, что подобные затеи утопичны без коренной перестройки всего социального фундамента империи.

Богатые возможности роста производительных сил, разработки природных богатств страны, лежащих втуне, развития трудовой и творческой энергии населения, подавленной порабощенностью масс и косной распущенностью господствующего класса, представлялись благодарной задачей „просвещенного" правительства, вооруженного неограниченной властью для реорганизации сил и средств страны на новых, более рациональных основаниях. Но русские деятели, мечтавшие о такой широкой творческой деятельности правительственной власти, скоро излечились — на примере Екатерины Великой — от наивной веры в „просвещенного" государя-философа, благодетеля человечеству. Мысль таких людей, передовых в правящей среде, пошла по пути конституционных размышлений, близких к идеологии консерваторов-англоманов, но с иным, отчасти, уклоном в понимании реальных задач преобразования. Это — люди более молодого поколения, сверстники Александра, из среды которых составился и первый кружок его советников — знаменитый „негласный комитет" первых лет его правления.

„Класс, который в России должен всего более привлекать внимане, — пишет П. А. Строгонов по

поводу обсуждаемых в этом комитете преобразований, — крестьяне; этот многочисленный класс состоит из людей, которые в большей части одарены значительным разумом и предприимчивым духом, но, связанные лишением прав свободы и собственности, осуждены на прозябание и не дают на пользу общества того вклада их труда, на какой каждый из них был бы способен; они лишены прочного положения, лишены собственности“. Так преобразовательная мысль, в поисках выхода из тягостного бессилия русских противоречий, неизбежно наталкивалась на отрицание основ данного социального строя, на требование свободы труда и собственности — перехода к буржуазному порядку, торжествовавшему свои победы в Западной Европе. Столь же неизбежно наталкивалась она и на отрицание самодержавия, на требование перехода к конституционному строю. Тот же Строгонов в той же записке так рассуждает о конституции: „конституция определяет признание законом прав нации и формы, в которых она их осуществляет; чтобы, далее, обеспечить прочность этих прав, должна существовать гарантия, что сторонняя власть не сможет воспрепятствовать действию этих прав; если такой гарантии не существует, утрачена будет цель этих прав, которая в том, чтобы препятствовать принятию какой-либо правительственной меры в противность подлинному народному интересу“. Старшему поколению так называемые „молодые друзья“ Александра казались слишком смелыми,

так как шли, повидимому, дальше их в вопросах социальной реформы и ограничения самодержавия. Но только — повидимому. И Строгонов основой русской „конституции“ признает установление сословных прав в 2 хартиях — жалованных грамотах дворянству и городам, а сводит конституцию к охране приобретенных сословных прав установлением определенного и неизменного порядка издания законов, который устранил бы всякую возможность произвола. Конечно, его мысль шире и идет дальше — к определению и установлению сословных прав крестьянства, на помянутых началах свободы и собственности, однако, с безнадежной осторожностью, так как задача состоит, по его мнению, в том, чтобы достигнуть этой цели „без потрясения, а без этого условия лучше ничего не делать“; и поясняет: „необходимо щадить владельцев, довести их до цели рядом распоряжений, которые, не раздражая их, произвели бы улучшение в положении крестьянства и довели бы его с незаметной постепенностью до намеченного результата“. Такая безнадежная связанность правящей среды с интересами господствующего сословия делала ее беспомощной перед задачей сколько-нибудь широких преобразований. Интересы, с возможно широким удовлетворением которых были по существу связаны весьма реальные потребности государственной жизни, — интересы торговли, промышленности и просвещения, — имели лишь весьма ограниченную и притом искаженную в условиях

крепостного строя общественную опору. Получался неисходный „ложный круг“: задачи, представлявшиеся очередными и насущными, требовали перестройки социальной основы всего государственного здания, а разрешимы были только на обновленной, переродившейся в существенных интересах своих общественной почве. Обычный парадокс критических периодов исторической жизни.

В такие моменты особым кредитом пользуется иллюзия всемогущества государственной власти. Недаром Каразин писал имп. Александру в известной своей анонимной записке: „Народы всегда будут то, чем угодно правительству, чтоб они были“; топорно и упрощенно он выразил мысль 18 века, идею „просвещенного“ абсолютизма. Век „великих преобразователей“, активной экономической и просветительной политики, обслуживавшей подъем буржуазных сил и буржуазных форм общественных отношений, повсюду ставил монархическую власть в противоречие с традициями безусловного классового господства дворянства, но нигде не довел этих противоречий до полного разрыва с прошлым, до полного преображения всего строя без революционной встряски. Покровительством развитию торговли и промышленности правительственная власть вскармливала в недрах старого режима новые общественные силы, вводила в круг своих мероприятий элементы крестьянской реформы, содействуя процессу приспособления помещичьего землевладения к новым усло-

виям торгового обмена и производства, ускоряя этот процесс под давлением государственных интересов, требовавших новой социально-экономической базы для своего обеспечения. В России эти внутренние противоречия старого режима были вскрыты для правящей среды в екатерининскую эпоху. Сознательная продолжательница дел Петра Великого, Екатерина капитулировала в своей политике перед дворянским засильем. Сын ее не хотел быть „дворянским царем". Неумело и суетливо пытался он, в порывах нервического личного деспотизма, пробить брешь в крепости дворянских привилегий, свод которых дворяне зачисляли в состав „основных" законов империи, пробовал властно вмешаться в отношения помещиков к крестьянам, всех сравнять в одинаковом бесправии перед своей самодержавной властью, по формуле: „у меня велик только тот, с кем я говорю и пока с ним говорю". Этот „принцип" (а это был принцип) нашел яркое выражение в уродливых и жестоких формах гатчинской воинской дисциплины, которую Павел пытался распространить и на двор свой, и на весь быт Петербурга, а, по возможности, на всю свою империю. Его планы государственного преобразования проникнуты крайней напряженностью державного своевластия, не связанного обязательными формальностями и действующего через рабски послушных доверенных лиц, по своей царской милости и царской справедливости, по личному усмотрению венценосца. От подчиненных властей Павел требует

строгого исполнения законов, но сведенных к „высочайшим повелениям“ и зависимым от перебоев личного настроения властителя. Милитаризируя и придворный быт и все управление, Павел в новой форме воскрешал стародавнее, средне-вековое, личное, вотчинное властвование; оно лишь обострено слиянием с военным командованием по прусскому образцу. Не даром Павел в конце концов увлекся Наполеоном, с которым готов был разделить власть над Европой: ему Наполеон был понятен, как правитель, утверждавший, что „править надо в ботфортах“. Многое в личности и действиях Павла может быть предметом индивидуальной патологии. Но общее содержание его правительственной деятельности ярко отразило парадоксальность положения русской императорской власти к исходу 18 века. Попытка выйти из положения, при котором „дворянство через правительство управляло страной“, расшатывала социальные корни самодержавия, не давая ему другой общественной опоры. Увлечение его своим самодовлеющим значением обострено и омрачено свежей памятью о ряде дворцовых переворотов, когда престол стал игрушкой гвардейских сил дворянства. Для Павла „основные“ законы империи сводились к закону о престолонаследии и положению об императорской фамилии. Самодержавие выступило при нем в полном обнажении своей сущности, несовместимой ни принципиально, ни практически с утопией „истинной монархии“, примиряющей монархический абсо-

лютизм с кое-какими конституционными гарантиями правового государства.

Дворянский конституционализм на рубеже 18 и 19 веков не шел дальше осторожного упорядочения деятельности верховной власти установлением некоторых гарантий законности ее действий. Его предпосылкой было сохранение всей полноты государственного абсолютизма в руках монарха и высших правительственных учреждений, сопричастных делу законодательства и верховного управления. Сперанский метко вскрыл коренное противоречие этой мысли в проекте 1803 г., определив задачу преобразования, как сохранение самодержавия, только прикрытого формами, относящимися к иному, т.-е. конституционному, порядку. Мотивы, которые вели политическую мысль этих поколений, заработавшую по новому под влиянием знакомства с западными теориями и западной практикой, к такому уклончивому результату, были различны у разных групп. Острая память о недавно пережитой пугачевщине побуждала к усилению центральной власти и ее полицейско-административных сил, как опоры помещичьего господства и того процесса закрепощения масс по окраинным областям, который был реальной основой всего государственного строительства империи. С другой стороны, брожение преобразовательных идей в правящей среде вызывало в одних группах стремление связать верховную власть „основными“ законами дворянского господства, а в дру-

гих — организовать ее работу, не ослабляя ее самостоятельности в деле необходимых преобразований, вне тормазов дворянского консерватизма, но, в то же время, с гарантией умеренности и постепенности реформ, чтобы избежать „потрясения“ и охранить интересы землевладельческого класса. Дальше этих оттенков не шли разногласия в среде влиятельных групп начала 19 века, нашедшие наиболее яркое выражение в борьбе между старшим поколением вельможных сенаторов и „негласным комитетом“ молодых друзей — советников Александра I за первые годы его правления. В лице имп. Павла державная власть резко противопоставила всем подобным тенденциям утверждение своей „абсолютности“, а ищет опоры в безусловной покорности бюрократических органов управления и безгласной, дисциплинированной в суровой муштровке воинской силы.

Павел погиб 11 марта 1801 года под ударами придворной и гвардейской среды, раздраженной не только его личным самодурством, но и порывистыми проявлениями его власти в делах внутренней и внешней политики, которые грозили серьезной опасностью существенным интересам господствующего класса. На престол вступил молодой император, воспитанный в самой гуще накопившихся противоречий, под перекрестным действием разнородных течений и влияний. Он получил весьма сложное наследство, как во внутренних отношениях правящей среды, так и в общем состоянии государственных дел, и в международном положении России.

2.

Между Петербургом и Гатчиной.

П. А. Строгонов набрасывал в дни своего близкого сотрудничества с Александром заметки о нем и о том, как надо с ним обращаться. „Император, писал он, взошел на престол с наилучшими намерениями — утвердить порядки на возможно наилучших основаниях“; но его связывают личная неопытность и вялая, ленивая натура. Казалось, что им легко будет управлять. У него большое недоверие к самому себе; надо его подкрепить, подсказывая ему, с чего следует начать, и помогая ему сразу обнять мыслью целое содержание каждого вопроса. Он особенно дорожит теми, кто умеет уловить, чего ищет его мысль, и найти ей подходящее изложение и воплощение, избавляя его от труда самому ее разрабатывать. Надо только при этом с тем считаться, что он весьма дорожит „чистотою принципов“; поэтому надо все сводить к таким „принципам“, в правильности которых он не мог бы сомневаться.

Некоторые черты Александра метко схвачены в заметках Строгонова. Таким он всегда был в своей идеологии и в своей правительственной работе: человеком „принципиальным“ и ожидавшим от сотрудников разумения его „идеи“, ее разработки в проек-

тах и выполнения в мероприятиях. Это, конечно, только одна, притом формальная, сторона его типа. Под ней — сложная человеческая натура, определившаяся в отношении к жизни и к людям при очень своеобразных условиях воспитания и восприятия окружающей действительности. Старшие сыновья Павла, Александр (род. 12 марта 1777) и Константин (род. 1779 г.), были в младенчестве отняты Екатериной у родителей. „Философ на троне“ решил не повторять ошибки Петра Великого и исправить свою собственную: воспитать себе преемника в старшем внуке. Для Константина обстановка детства была несколько иной, да и тип был другой; в нем явно преобладала голштинская наследственность, по отцу и деду, а в Александре — вюртембергская, по матери, как и в младших Павловичах. В духе своих педагогических воззрений, Екатерина стремилась дать внуку не столько широкое и солидное образование, сколько идеологическое воспитание, и поручила это дело республиканцу по воззрениям и питомцу французской просветительной литературы 18 века — Лагарпу. Республиканец — воспитатель будущего самодержца — казался позднейшим поколениям явлением парадоксальным. Но надо вспомнить, что сама Екатерина, как и Александр, любили называть себя „республиканцами по духу“. Это слово в те времена вовсе не означало непременно определенного политического воззрения. Под ним разумели скорее некоторый моральный тип, благородный характер,

воплотивший в себе начала „гражданской добродетели“, твердого служения усвоенным принципам справедливости, общественного долга, человеческого достоинства и стоического мужества в этом служении. На образцах античной доблести, чеканно обрисованных в писаниях историка Тацита и в биографиях Плутарха, и на рассуждениях в духе французской просветительной философии о принципах свободы и равенства, народного блага и просвещения раскрывалось возвышенное, идеально-отвлеченное содержание этого мировоззрения. В атмосферу таких представлений и чувствований погружал Лагарп впечатлительного питомца, заставляя его, к тому же, всматриваться в черты собственного характера и поведения, письменно каяться в дурных и мелких побуждениях, осуждать их в определенных французских фразах. Александр глубже воспринял прививаемый ему гражданский идеализм, чем можно было бы ожидать по свойствам подобной педагогики, которой он подвергся в течение детства и юности (от 6 до 17 лет). Он навсегда сохранил благодарную привязанность к Лагарпу и привитые им основные идеологические заветы. И покаянные приемы этой педагогики приучили Александра не только к искусной технике лицемерия — ее он усвоил из более сильных житейских источников придворного и семейного своего быта, — но также применению повышенных идейных критериев в оценке людей, среды и самого себя. Надо признать, что воспитание Ла-

гарпа должно было зародить в нем то „большое недоверие к самому себе“, какое отмечает в Александре Строгонов, и которое также определилось и окрепло в трудных условиях его юношеской жизни между двумя дворами — „большим“ и „малым“, как их называли, петербургским и гатчинским. Двор и вся среда правящего центра дали питомцу Лагарпа превосходный материал для практической примерки отвлеченных принципов личной и гражданской добродетели. Внешний блеск и условная величественность, салонное изящество, доведенное до уровня художественной картинности, плохо прикрывали для юноши, жившего в этой обстановке, крайнюю распущенность нравов и быта, разгул мелких интриг и корыстных происков, низость характеров и отношений, цинизм хищений и произвола. Он видел императрицу, окруженной „людьми, которых не желал бы иметь у себя и лакеями“, а в их руках — власть над обширной империей, непомерно разросшейся и беспощадно эксплоатируемой бесконтрольным и безответственным хозяйничаньем власть имущих: „господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно“ — писал он в 1796 г. своему учителю. Позднее, при восшествии на престол, он объявит в манифесте намерение, даже „обязанность управлять по законам и по сердцу Екатерины Великой“. Быть может, что, подписывая этот манифест, он не чувствовал всей глубокой фальши подобной формулы, и не только подчинился

условиям момента реакции против павловских „новшеств“: екатерининская идеология эпохи „Наказа“ была ему близка. Но личной преданности памяти бабке-императрице в нем не было и следа, а ее царствование, в его конечных итогах, вызывало в нем суровое осуждение.

И разлад Александра с петербургской средой, и даже лагарповские уроки „добродетели“, хотя и с измененным содержанием, нашли поддержку в его связях с „малым“, гатчинским дворцом. Родители сумели, в известной мере, вернуть себе влияние на сына, хотя прямой интимной близости между ними так и не установилось. Тут Александр попадал в обстановку, во всем противоположную петербургской. Строжайшая дисциплина во всем, отчетливый порядок, больше простоты в ежедневном быту, семейная жизнь, резко отличная от столичной распущенности, более скромная, но и более искренняя культурность, скорее немецкого, чем французского типа, самая политическая заброшенность „малого“ двора придавала ему характер иного, особого мирка, похожего скорее на двор мелкого германского князя, чем будущего русского самодержца. Тут мало чувствовалось веяний „просвещенного“ века с его рационализмом, скептицизмом, вольтерианством, а господствовала несколько мещанская корректная „добродетель“ немецкой принцессы, отражались новые течения — сентиментализма, возрождения ценности „чувства и веры“, рутинной, но по-своему крепкой ре-

іозности и морали. В суждениях и воззрениях, ;кими тут встречался Александр, звучала резкая итика петербургского быта — и дворцового, и об- ественного, всего хода управления — и военного, гражданского. Традициям 18 века — „революционным“ — тут противопоставляли начала „порядка“, исциплины, монархического и военного абсолютизма, верности традиционным заветам религии и ытовой морали, — начала европейской реакции. Мно- ое должно было быть в этом мирке чуждо питомцу Лагарпа, но импонировала „чистота принципов“, признание „добродетели“, исполнения „долга“, поддержание „порядка“. Идеально-законченный прототип этого „порядка“ Павел видел в замуштрованном до полной механичности всех строевых движений войске выработал под руководством прусских инструкторов на своей маленькой гатчинской армии ту мертвящую систему воинской выучки, которой подверг затем всю русскую армию. Служба в гатчинских войсках была тяжела и даже опасна: такая муштровка требовала мелочной напряженной исполнительности достигалась жестокой системой дисциплинарных кар, а Павел, со свойственным ему редким даром все доводить до уродливой крайности, прусскую муштровку и суровую дисциплину довел до нестерпимой утрировки. Однако, он создал систему приемов навыков, прочно усвоенную всеми Павловичами, царившую в русской армии до военной реформы Александра II, как твердая форма милитаризма, в

котором русское самодержавие 19 века искало и находило не только наиболее надежную опору, но также недостижимый, а все-таки желанный образец общественной дисциплины вообще. Александр прошел тут вторую школу, глубоко на него подействовавшую, — школу Аракчеева, надежного и заботливого экрзерцирмейстера, преданного дядьки-слуги, который ввел питомца во всю премудрость армейской техники, облегчая трудности выполнения отцовских требований. Связь с Аракчеевым создалась прочная, на всю жизнь. Александр нашел в нем безусловную исполнительность, грубую, жесткую, но сильную энергию, которой пользовался охотно, закрывая глаза на трусливо-низкую подкладку аракчеевской жестокости, и почти до конца дней своих относился к этому „другу“ с таким полным личным доверием, какого не имел ни к кому другому из близких, ни, пожалуй, к самому себе. Ход событий связал их еще теснее — на началах своего рода взаимного страхования...

Темные, мрачные стороны внутренних соотношений в правящей среде воспринимались Александром, несомненно, с большой остротой в его круговращении между Петербургом и Гатчиной. Впечатления эти получили особую личную напряженность в связи с планами Екатерины относительно престолонаследия. Она открыто готовила Александра себе в преемники. А для Павла этот вопрос был не только личным; он связывался с принципиальным вопросом о поло-

жении престола и династии в самодержавном государстве. Еще в январе 1788 г. Павел с женой заняты выработкой закона о престолонаследии, с публикации которого он начал свое царствование, закона, который должен был покончить с зависимостью преемства во власти от произвола окружавшей престол дворянской среды и придать самодержавию самодовлеющую устойчивость законной власти. Планы Екатерины ставили отца и сына в положение соперников, из которого Александр попытался выйти: на прямое сообщение ему воли Екатерины ответил уклончивым благодарственным письмом и поспешил сообщить все дело отцу. Однако, недоверчивость задетых честолюбий осталась в недрах семьи разъедающим отношения червяком. К тому же мысль Екатерины о законе, который определял бы право императриц царствовать, повидимому, тогда же запала в душу Марии Федоровны...

Вся обстановка, разлагавшая возможность сколько-нибудь здоровых, нормальных человеческих отношений, воспитывала в этой среде то недоверчивое, даже резко-презрительное отношение к людям, какое высказывал Павел в оправдание крутого деспотизма и которое заразительно влияло на его сыновей, тем более, что не расходилось с их личными впечатлениями от окружающей их жизни. Принципиально такое воззрение не расходилось и с заветами Екатерины; ведь и она находила, что для осуществления более разумного строя отношений и порядков необ-

ходимо создать „новую породу“ людей, а когда разочаровалась в возможности искусственно переработать русское общество в пассивный материал для своих экспериментов, опустила руки и поплыла по течению. Павел по-своему устремился к дрессировке всего общества в полной покорности велениям власти,—методами внешней дисциплины и резкого подавления всякой самостоятельности, даже в бытовых мелочах. Этим же направлением воли и мысли был вызван его проект реформы центрального управления организацией министерств, как органов личной императорской власти. Как в военном деле, так и в создании русской бюрократической системы, начинания Павла приобрели большое историческое значение, так как получили дальнейшее развитие при его сыновьях-преемниках.

Так, гатчинская школа имела огромное значение для подготовки Александра к его будущей деятельности и для его личного характера и воззрений. Правление отца было продолжением той же гатчинской школы. Условия личной жизни Александра в эту пору—еще напряженее, еще сложнее.

Едва ли эти годы дали ему много особенно новых впечатлений. И влекущие честолюбие, и жутко-тягостные стороны власти были ему ясны. Успокаивался он от двойственности таких настроений в мечте о благодетельной речи законодателя, который, выполнив свою задачу всеобщего благоустройства, сможет потом почить на лаврах, отдохнуть от напряжения,

сложить трудное бремя. В 1797 г. он пишет Лагарпу о „посвящении себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-либо безумцев“; такое дело было бы „лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законной властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей“. А затем что? Ответом на такой вопрос служила идиллическая картинка, в духе тогдашней сентиментальной литературы, — об уединении в уютном сельском уголку, в семейной обстановке, в домике где-нибудь на берегах Рейна.

Такие мечты удовлетворяли разом и тягу к красивой роли, к благородному выполнению долга в духе усвоенной с детства просвещенной идеологии, и личную склонность избегать напряжения, особенно длительного, уклониться от креста жизни, хотя бы ценой отказа от заманчивой перспективы „великой“ роли на исторической сцене и от власти. Такие мечты были заманчивы для натуры Александра, но и опасны. Страна — „игрушка безумцев“: это не отвлеченная фраза; „безумцем“, которому нужна опека, считали Павла и до его всупления на престол. Иностранные осведомители уже в 1797 г. — в год коронации Павла — сообщали о толках про неизбежный новый дворцовый переворот, пока неопредилившиеся в заговоре, но уже бродившие в Петербуге. А наследник — соперник отца при Екатерине, хоть и пасивный, хоть

и поневоле, — обсуждал с друзьями планы своего правления, столь непохожие на отцовские. „Нас—пишет он в том же письме — всего только четверо, а именно: Новосильцев, гр. Строгонов и молодой князь Чарторыйский, мой адъютант“.

В первое время правления Павел был под бдительной опекой двух женщин — имп. Марии Федоровны и фр. Нелидовой, заботливо сглаживавших угловатости его неуравновешенного нрава. Императрица сплотила своим влиянием правящую группу, в которой главную роль играли: Куракины, Безбородко и Н. П. Панин. Но это своего рода регентство было скоро разбито влиянием Кутайсова и Растопчина, не без предательства, повидимому, со стороны лукавого старика Безбородка; интрига дошла до подсунутого Павлу романа с А. П. Лопухиной, разбила его семейную обстановку, вывела его из последнего равновесия. Коснулась она и Александра. Его друзья были удалены от него, разосланы по разным местам. Павел, видимо, готов был довести этот домашний и придворный переворот до крайности, устранить Александра и прередать наследство принцу Евгению Вюртембергскому, выдав за него одну из дочерей, Екатерину; во дворце ожидали заточения Марии Федровны в монастырь. Трудно судить, насколько тут были более или менее действительные намерения, а насколько случайные вспышки раздражения и подозрительности, быть может, взвинченных смутным ощущением нараставшего разрыва с окружающими,

за которым чуялся созревший заговор. Гневные выходки по адресу жены и детей, угрозы и нескрываемое подозрение в отрицании его власти — закончились 10 марта сценой повторной присяги старших сыновей отцу, которую тот вынудил: Александр принес ее, зная о заговоре и давши согласие на устранение отца от власти. Самый срок выполнения — в ночь с 11 на 12 марта — указан был им (Пален, руководитель всего дела, предполагал 8-го), потому что на карауле во дворце будет лично для него наиболее надежная воинская часть.

Александр дал свое согласие за несколько месяцев до того на переворот, подготовленый Н. П. Паниным. Панин указывал на государственную необходимость: действия Павла грозят „гибелью империи“. Круто нараставший произвол самодержца, у которого каждое движение неуравновешенной натуры безудержно переходило в „высочайшие повеления“, жестокие, необдуманные и бессвязные, создавал нестерпимую обстановку спутанности всех дел и отношений, случайности всех личных судеб и решения всех важнейших и мельчайших очередных вопросов. Главный же толчок, который скрепил нараставшее недовольство в организованный заговор, был дан крутым поворотом во внешней политике Павла, к выходу из антифранцузской коалиции, разрыву с Англией, союзу с Наполеоном. Поворот этот слишком сильно ударял по интересам русской торговли и русской правящей знати, казался безумным нарушением „английской

ориентации“, скрепленной недавними договорами. Панин предполагал передачу регентства Александру, повидимому, по решению Сената, быть может, в расширенном составе с привлечением высших военных и гражданских чинов, предполагал даже, что Александр лично примет на себя руководство исполнением всего плана, чтобы не допустить излишних крайностей. Дело обсуждалось еще в конце 1799 года между Паниным, адм. Рибасом и английским послом Витвортом; заговор созрел в гостинной О. А. Жеребцовой, сестры Платона Зубова; охватил широко гвардейские и сановные круги Петербурга; был известен старшим членам царской семьи, не выключая, повидимому, и самой имп. Марии Федоровны, лелеявшей, однако, по свидетельству ее вюртембергского племянника, свои планы на регентство; получил согласие Александра, хотя и уклонившегося от личного участия в выполнении. Но в роковую ночь с 11 на 12 марта 1801 года дело получило иной оборот. Группа заговорщиков, взявшая на себя выполнение, руководимая петербургским военным губернатором Паленом, вошла во дворец с актом об отречении Павла от престола, чтобы вынудить его подпись и арестовать его, а кончила безобразной расправой над ним, с побоями и удушением.

Через труп отца прошел Александр к престолу. Переворот получился не английский — государственный, а русский — дворцовый; иного и не могло быть при самодержавном строе: дело шло о личной власти,

не о „национальных полномочиях“ конституционализма. Александр получил власть не от сената, не от правящих сил дворянского класса, а по собственному праву, по „основному“ закону о престолонаследии, применительно к которому и присяга принесена была при вступлении на престол Павла не только на имя отца-императора, но и сына — законного наследника. Убийцы Павла лишь ускорили вступление на престол сына, отстранили неуместные притязания матери на власть (о проявлении которых сохранились любопытные свидетельства), расчистили ему дорогу.

Несомненно, что память об 11 марта нависла тяжелой тенью над всей дальнейшей жизнью и деятельностью Александра-императора. И не столько потому, что он не мог считать себя чистым от кровавой грязи события. Он был участником заговора; он принял его кровавый исход, не объявил выполнителей убийства преступниками, сохранил их себе сотрудниками, а если кого и отдалил, то по иным мотивам; тот, кого надо признать главным виновником кровавого исхода (он же и Марию Федоровну сумел поставить на место), Беннигсен, не испытал никакой „опалы“, а если и получил временно назначение вне столицы, то и это не было какой-либо карой, а лишь тактичным приемом Александра. В общем, нет оснований строить на этой стороне воспоминаний Александра об 11 марта какую-либо личную его драму. Пережитое легло, конечно, на семейные от-

ношения петербургского двора. Поведение императрицы-матери, о которой Чарторыйский, например, сообщает, что она в ту ночь „казалась в первые моменты решившейся на смелое выступление, чтобы захватить бразды правления и отомстить за убийство мужа", вызвала Александра на недоверчивый надзор за ней, доходивший до перлюстрации ее переписки, особенно с Вюртембергским двором. А Мария Федоровна то и дело пыталась повлиять на политику сына своими наставлениями, вызывая с его стороны почтительные, но твердые разъяснения, группировала около себя недовольных его решениями, сумела сохранить за собой первенствующее положение во дворце, не щадя в письмах к сыну упоминаний о том внимании, с каким относился к ее желаниям „незабвенный" покойник. В ином смысле шантажировал Александра памятью о Павле Аракчеев. Надпись на памятнике, который он воздвиг Павлу в своем Грузине: „Сердце чисто и дух прав перед Тобою", пояснялась им так: „Кто чист душою и помышлением моему единственному Отцу и Благодетелю, также вечно будет предан и всеавгустейшему его семейству". Такими ходами Аракчеев попадал в самую суть значения 11 марта для Александра. Этот последний образец дворянских дворцовых переворотов 18 века был грозным для самодержца напоминанием об его зависимости от окружающей престол среды. А сознание такой зависимости, тревожившее Александра в течение всей его

деятельности, во всех важнейших вопросах и внешней, и внутренней политики, в корень противоречило всей идеологии Александра, всем усвоенным им воззрениям на власть, на ее задачи и способы действия, как и вскормленным на этой идеологии личным свойствам его характера.

3

Идеология Александра.

Первые шаги нового государя были реакцией против ряда проявлений павловского деспотизма, возвещенной манифестом об управлении „по законам и по сердцу Екатерины Великой". Составлен этот манифест одним из деятелей Екатерининской школы, Трощинским, и хорошо выразил, чего ждали от Александра, чем можно было оправдать переворот. В марте, апреле и мае 1801 г. издаются спешно, в первые недели ежедневно, повеления, смысл которых, по выражению современника, „в трех незабвенных словах: отменить, простить, возвратить". Официально пояснялось, что распоряжения эти направлены „к восстановлению всего того, что в государстве по сие время противу доброго порядка вкоренилось". 30-го марта последовало учреждение „непременного совета" для рассмотрения государственных дел и постановлений; на этот совет возлагались, по смыслу данного ему наказа, пересмотр всех законов и постановлений и выработка проектов

необходимых перемен и улучшений. Этим как бы предполагалось, что именно совет станет органом преобразований, намеченных Александром, а наименование его „непременным“ указывало на его органическое, определенное учредительным законом участие в подготовке и осуществлении актов государственной власти. Однако, совет сразу на деле отнюдь не получил такого значения. Император продолжает принимать личные доклады по отдельным ведомствам, входя в дела и давая свои повеления, а в совет поступали, по выражению гр. А. Р. Воронцова, только такие дела, „коих докладчики сами делать не хотели“. В том же направлении разыгралось более громкое дело о „правах сената“. 5-го июля 1801 г. Александр потребовал, чтобы он представил „доклад о своих правах и обязанностях“. Указ пояснял, что государь смотрит на сенат, как на верховное место правосудия и исполнения законов, а, между тем, видит, как „права и преимущества“ этого учреждения подверглись искажению, что привело „к ослаблению и самой силы закона, всем управлять долженствующего“. Исходя из таких предпосылок, Александр заявлял, что надлежит выяснить нарушенные права сената, устранить все, что было введено в отмену и в ослабление их, для того, чтобы утвердить полномочия сената, как „государственный закон“, а сам он „силой данной ему от бога власти потщится подкреплять, сохранять и соделать его навеки непоколебимым“. Сенат, который давно пре-

вратился в „сборное только место высочайших распоряжений“ да решал „маловажные дела“, так как все более существенное шло и при Екатерине и, тем более, при Павле на „высочайшее усмотрение“ по докладам генерал-прокурора или через начальников отдельных ведомств, отозвался на призыв Александра обширными притязаниями как в законодательстве, так и в распоряжении бюджетом, и в судебном деле, до окончательного утверждения смертных приговоров. А. Р. Воронцов представил Александру свои пояснения, сводившиеся к тому, что ни „целость“ обширного государства, ни „спокойствие и личная безопасность“ его граждан не могут быть обеспечены под властью самодержавного государя, а необходимо установление прав сената, от чего „зависит и будущее устройство России и, быть может, самое доверие, какое должно иметь к управлению“. Так люди старой школы 18 века мечтали не только вернуть сенату его значение махового колеса всей системы управления, но и утвердить ее на „незыблемом“, „основном“ законодательстве, и указывали в этом путь к восстановлению правительственного авторитета и доверия к власти, а также к дальнейшему „устройству“ России. Не укрылось от поклонников сената противоречие между их мыслью и учреждением „непременного“ совета; тот же Воронцов пояснял Александру, что совету не подобает никакая самостоятельная роль; он должен быть только „приватным“ совещанием „между

государем и теми, коих он своею доверенностью удостаивает“ — прежде всего с управляющими отдельными ведомствами, „так, как советы во всех монархических порядочных правлениях устроены бывают“.

Но если и учреждение совета и постановка вопроса о правах сената могли быть поняты высшей вельможной бюрократией, как готовность молодого государя отдаться под ее руководство и даже утвердить это руководство на незыблемом основании государственного закона, то она очень скоро разочаровалась в своих надеждах и расчетах. Не развернулось по первому замыслу значение совета, но не были утверждены и „права“ сената. Начатое брошено в полу-деле. Организация правительственной работы пошла иным путем.

У Александра с юношеских лет было намечено свое правительство. Помимо старшего поколения екатерининских дельцов, помимо людей времени Павла, вне круга требовательных опекунов-хранителей традиции и, тем более, кандидатов во временщики из деятелей переворота, Александр призывает давних трех „друзей“ — Строгонова, Новосильцева, Чарторыйского, и четвертого — В. П. Кочубея — к ближайшему сотрудничеству с собой. Не в среде влиятельных официальных учреждений, публичных органов власти, а в интимном, негласном комитете будет разрабатываться программа нового царствования. Предполагались серьезные реформы,

которые водворят в государстве порядок и законность, преобразуют социальный строй и поднимут просвещение, развяжут силы страны для подъема ее производительных и культурных средств. Но первым правилом всей работы принято, что все намечаемые преобразования должны исходить не от какого-либо учреждения, а лично от императора, и потому необходимо, чтобы не только никто не занимался их подготовкой и обсуждением помимо особого его поручения, но чтобы вся предварительная работа велась вполне секретно, пока готовая мера не будет обнародована в форме императорского указа. Этим преобразователи думали охранить свободу своего творчества, независимость императора от давления окружающей среды, преждевременных кривотолков и оппозиции, преувеличенных ожиданий и скороспелого недовольства; законченные и опубликованные меры обществу придется принять, как акты верховной власти, получившие законную силу. „Абсолютная тайна“ была особенно необходима, по мнению Строгонова, потому, что надо было не только тщательно обсудить намеченные преобразования по существу, но еще „познать в совершенстве истинное состояние умов и приноровить реформу таким образом, чтобы осуществление ее вызвало всего меньше недовольства“. Преобразовательная работа, к которой только собирались приступить, была сразу скована напряженным опасением, как бы не вызвать слишком определенного разлада между пра-

вительством и преобразуемой общественностью. Резкие отзывы о дворянской массе, какие читаем в заметках Строгонова по поводу занятий негласного комитета, недоверчивая оглядка на ее вельможные верхи — характерны для всей тогдашней обстановки. Память об 11 марта была еще слишком свежа. И рядом — другая черта, столь же, если не более, существенная; группа сотрудников Александра, которую он, в шутку, называл „комитетом общественного спасения“, а сердитые критики бранили „якобинцами“, принадлежала к той же среде крупной аристократии и готова была итти только на minimum необходимейших преобразований и то с большой постепенностью и без малейших „потрясений“, признавая, что иначе лучше ничего и не делать. Теоретическое понимание коренных пороков самодержавия и крепостничества теряло силу и значение при разработке мер к преобразованию, потому что его хотели провести без сколько-нибудь заметного разрыва с осуждаемым в принципе строем отношений. Немудрено, что искомый минимум расплывался и улетучивался при обсуждении. Александра, воспитанного в двойной школе — просвещенного абсолютизма и военного деспотизма, манила мечта о роли благодетельного диктатора, а приходилось, с первых же шагов правления, усваивать теорию и практику приспособления всех проектов и мероприятий к интересам и настроениям господствующего общественного класса. Понятно, что в таких условиях, единственной

реформой, получившей и осуществление и подлинное значение, оказалось преобразование центрального управления с целью усиления центральной власти. Раз эта власть предполагала приступить к широким преобразованиям и не расчитывала, при этом, на поддержку широких общественных кругов, она сугубо нуждалась в исполнительных органах, деятельных и приспособленных к проведению в жизнь ее предначертаний. Такими органами и должны были быть министерства, учрежденные указом 8-го сентября 1802 года. Этим уравновешивалось то перенесение центра тяжести управления из центра в области, которое явилось результатом екатерининской губернской реформы. Завершалась организация бюрократической системы управления, с обеспечением для монарха возможности лично и непосредственно руководить всем ходом дел через министров, им назначаемых, перед ним ответственных, с ним непосредственно связанных в порядке личных докладов и повелений.

Учреждение министерств связывалось для негласного комитета, прежде всего, с задачей организовать активную и сильную центральную власть, способную держать в руках все государственные дела и успешно работать над переустройством порядков управления и всех внутренних отношений. Этим выполнялся план административной реформы, не только намеченный Павлом, но, в значительной мере, проведенный при нем в жизнь, так как уже при нем ве-

домства „министров“, „главных директоров“ и т. п. захватили почти все отрасли центральной администрации.

Но, с другой стороны, то же учреждение министерств понималось, как первый только шаг к преобразованию управления на новых началах. Предстояло обеспечить планомерное единство всей правительственной работы и утверждение начала „законности“ в действиях управляющих властей. Достижение обеих целей связывалось с идеей о верховном учреждении, которое объединяло бы работу всех ведомств своим руководством, вырабатывало бы новые законодательные нормы, систематически пополняя и преобразуя действующее законодательство и, в то же время, своим контролем и надзором обеспечивало бы закономерность ведения и разрешения всех дел. Организация этих функций центральной власти, с объединением их в одном учреждении, или с разделением их между сенатом и непременным советом, должна была устранить „самовластие“: устранить или хотя бы „уменьшить зло, которое (как писал Строгонов, повторяя мысль Александра о стране-игрушке в руках безумцев) может произойти от различия в способностях тех, кто стоит во главе государства“, а также избавить политику власти от случайных влияний и произвола временщиков. Самодержавие должно было стать „истинной монархией“. Однако, несомненно, что конституционная подкладка подобного хода мыслей и его корен-

ное внутреннее противоречие, его половинчатость, — были ясны деятелям начала 19 века. Они понимали, что гарантии законности связаны, по существу, с той или иной степенью обобществления власти. Строгонов указывал на иллюзорность подобного значения бюрократических учреждений, так как оно может подлинно принадлежать только „политической организации и общественному мнению“. Сперанский, разрабатывая — по особому поручению и в связи с занятиями негласного комитета в 1803 году — проект устройства правительственных учреждений, указывал на несовместимость „истинного монархического правления“ с сохранением „верховного начала“, по которому в лице государя объединяются власти законодательная и исполнительная и распоряжение всеми силами государства, и сводил смысл намечаемых преобразований к такой внешней организации „правления самодержавного“, при которой оно будет только „покрыто формами, к другому порядку принадлежащими“. И с такими суждениями сходились видные представители враждебной негласному комитету группы сановников старшего поколения. Трощинский указывал, что учреждения бюрократические всегда будут орудием самовластного правления, пока не существует „законных установлений для сосредоточения массы народной“ и чиновничество не встречает „противуборствия“ ни в „сословии зажиточных людей“ (т.-е. в буржуазии), ни „в классе простолюдинов“. Другие представители той же кон-

сервативной группы указывали, что только „избранный“ сенат, составленный из представителей общества, сможет быть оплотом „прав политических“.

Последовательно продуманная „истинная монархия“, отличная от „деспотии“, превращалась в монархию конституционную с народным представительством. „Народным“? — В крепостнической стране представительство, без коренной социальной реформы, начисто отдало бы власть в руки дворянства. Превращение самодержавной монархии в правовое государство возможно, так выразил эту мысль Сперанский, при условии „государственного закона, определяющего первоначальные права и отношения всех классов государственных между собою“, закона, обязательного для правительственной власти, не зависящего от ее усмотрений. О таком провозглашении в день коронации Александра прав русского гражданина рассуждали его советники по его личному настоянию, но и то свели набросанный проект к некоторым гарантиям от судебного и полицейского произвола да к определению порядка публикации новых постановлений о налогах. Ничтожество этого проекта по содержанию сделало его мертворожденным. Все эти споры, суждения, предположения и разногласия были для Александра школой политической мысли, проверкой ранее усвоенных понятий и воззрений. В итоге у него сложилась своя, довольно определенная точка зрения на желательный строй отношений между властью и обществом, своя

политическая программа, принципиальные основы которой он пытался отстаивать почти до конца своей жизни и проводить в своей политике, как внутренней — русской, — где дело так и не пошло дальше проектов, так и общеевропейской, в которой она дала более реальные результаты, так же, как и в отношении к окраинным областям империи, наиболее „европейским“ из его владений. Сложилась своеобразная теория о „законно-свободных“ учреждениях, как норме политического строя, обеспечивающей условия мирного развития страны и их охраны, как от революционных потрясений, так и от правительственного деспотизма. Коренная утопичность этой теории привела Александра к ряду конфликтов с русской действительностью, до почти полного внутреннего разрыва с нею, а в международных отношениях определила его основные стремления, которые завершились полным банкротством, опять-таки на почве расхождения с реальной действительностью; выразилась она и в тех, и в других в ряде фантастических проектов, запутывавших Александра в безысходной сети противоречий с самим собой и с окружающими — до полного срыва личной жизнеспособности в последние годы и уединенной от мира кончины в далеком Таганроге.

Утопия — это форма мышления о жизни, ее отношениях и устройстве, которая стремится разрешить или, вернее, „снять“ ее противоречия, согласно тем или иным идеальным требованиям, вне условий

реальной возможности, без их достаточного учета, даже, обычно, без достаточного их понимания. У Александра были свои „идеальные“ требования, и он упорно искал данных для их осуществления силой находившейся в его руках огромной власти. Питомец 18 века, он пытался разрешить задачу такой полной и окончательной организации государственной жизни, чтобы в ее твердо установленных рамках и формах нашли свое спокойное, равномерное течение мятежные волны все нараставшей борьбы противоречивых стремлений и интересов. Утопическая задача умиротворения внутренней борьбы — в век напряженного раскрытия классовых противоречий в ряде революционных потрясений, и борьбы международной — в век нараставшей ломки установившихся государственных граней, получила в его сознании решение, неизбежно также утопическое.

Для историка данной эпохи легко вскрываются под действиями Александра, которым он подыскивает и дает идеологическое обоснование, весьма реальные мотивы: во внутренней политике стремление власти к самосохранению и самоутверждению в ряде компромиссов с господствующими в стране интересами, во внешней — мотивы государственного эгоизма, определяемые экономическими, финансовыми, территориально-политическими интересами данной страны. Но для биографа Александра существенны эти идеологические обоснования и как культурно-историческая черта эпохи, и как прием

политики, и, наконец, как проявление изучаемой индивидуальности, типичной для своего времени.

На идеологии Александра ярко отразилось влияние того, что было выше названо пройденными им двумя школами: Екатерины и Павла, Лагарпа и Аракчеева. Обычно не доценивают, даже не замечают того, что в его психике и в его мировоззрении эти два влияния, казалось бы, столь противоположные, не только сочетались механически, создавая ряд перебоев в его настроениях, но слились органически, сведенные к некоторой идеологической цельности. А это — черта, не только основная для понимания характера и воззрений Александра, всех перепетий его деятельности и его „противоречий", но и такая, которая не была его индивидуальной особенностью, а характерна для многих деятелей его времени. Дело в том, что в итоге обсуждения преобразовательных проектов негласным комитетом получилась программа, согласно которой не только правительство, но именно личная власть государя должна быть единственной активной силой нововведений, без какого-либо участия общественных элементов, хотя бы уполномоченных самою же верховною властью, или даже высших правительственных учреждений: в их личном составе видели проявление независимой от этой власти дворянской общественности, с которой приходилось считаться, но от давления которой желательно было, по мере сил и возможности, освободиться. Начать работу решили с упорядочения

и усиления администрации, подготовляя в то же время законодательную работу, которая установит в стране новые порядки и отношения, а затем только, когда вся эта творческая часть дела будет завершена, придет черед для конституции, под которой разумели систему „основных“ законов, охраняющих установленные в действующем законодательстве порядки, права и отношения, от их нарушения какимлибо произволом. Эти конституционные законы характерно означали термином законов охранительных, консервативных (lois conservatrices). Конституция, которую надо подготовить путем сравнительного изучения всех существующих на Западе конституций и сводки их принципов, может быть введена — на этом особенно настаивал Александр — только после того, как будет закончена выработка свода законов, их стройного, внутренне-цельного кодекса, исчерпывающего правовое определение всех отношений. Конституционный строй, в таком понимании, рассматривался отнюдь не как организация общественных сил для активного и творческого участия в правлении, а как система гарантии существующего порядка от каких-либо потрясений, откуда бы они ни шли — сверху или снизу. Законность — опора и форма общественной дисциплины, опора и авторитету власти, которзя и сама откажется от усмотрения, от ломки и нарушения признанного и действующего права, когда закончит свою организующую работу, когда иссякнет надобность в ее самодержавной дик-

татуре. А в боевое время, пока эта диктатура нужна для многосложной подготовительной работы к грядущему преобразованию, власть должна быть сильной и свободной в своих действиях. Общественная дисциплина, которая когда-нибудь, со временем, будет построена на началах конституционной законности, сводится — пока — к полной покорности велениям власти, по образцу дисциплины военной. В идеале — это должна быть покорность „не за страх, а за совесть", но такой идеал достижим опять-таки, когда закончится введение новых порядков и общество проникнется их благодетельными началами, т.-е. переродится в новую породу людей. До этого еще далеко. Окружающая среда полна настроений и интересов, враждебных преобразованиям, сотрудники то и дело создают только препятствия, людям нечего верить. Из впечатлений юности, из дальнейшего опыта Александр вышел с настроением, которое выражалось иной раз в таких суждениях: „я не верю никому — говаривал он, — я верю лишь в то, что все люди — мерзавцы", повторяя сходные мнения Павла.

В письме, предназначавшемся для Джефферсона, президента Северо-Американских Соединенных Штатов, Лагарп писал об Александре в 1802 году, что „в настоящую минуту он серьезно занят устройством механизма свободного правления, преобразовывая администрацию таким образом, чтобы она стала сначала носителем просвещения, а затем вводила по-

нятия гражданской свободы“; так осмысляли „преобразователи“ с Александром во главе — учреждение министерств. В начале 1803 года обнародованы „Предварительные правила народного просвещения“, подробнее развитые в уставах 1804 г. Введена широкая организация учебного дела, осуществлявшая, с частичными изменениями, образовательный план Екатерины. Россия разделена на 6 учебных округов, в центре учебного дела каждого из них должен стать университет, в связи с ним — общеобразовательные средние школы по губернским городам, а ниже — подготовительные школы, уездные и народные: цельная система единой, общеобразовательной и всесословной школы. Высшие учебные заведения должны были насаждать новые знания и новые идеи, распространяя их вглубь всех слоев населения. Посев для будущего русского просвещения был значителен; но для ближайшего времени — построенная форма лишь медленно стала наполняться некоторым содержанием, а жизнь — претворять ее на свой лад, подчиняя, напр., всесословную школу началу сословности, и не столько сама претворялась под действием просвещения, сколько его претворяла на свой лад. Откликнулось правительство на новые интересы также покровительством изданию таких книг — за 1803 — 1806 г.г., — как перевод евангелий экономического и политического либерализма — трудов Адама Смита и Іеремии Бентама, Беккариа и „Конституции Англии“ Делольма, классического

образца республиканской доблести — Корнелия Тацита и т. п. Александр имел в конце жизни основание сказать, что сам сеял начала тех идей, которые вскормили движение декабристов. Но для него самого первые опыты приступа к деятельности, проникнутые утопической надеждой на быстрый успех, свободный от борьбы и „потрясений", на „лучший образец революции — произведенной законной властью", стали источником разочарования и раздражения. „Было бы нецелесообразным возбуждать опасения среди привилегированных сословий, пытаясь создать сейчас что-либо вроде свободного представительного правления", внушали ему со всех сторон, „быть может, даже нецелесообразным было бы обнаружить желание полного освобождения крепостных крестьян". И даже президент Джефферсон писал ему в 1804 г.: „Разумные принципы, вводимые устойчиво, осуществляющие добро постепенно, в той мере, в какой народ ваш подготовлен для его восприятия и удержания, неминуемо поведут и его, и вас самих далеко по пути исправления его положения в течение вашей жизни".

Теоретическая самонадеянность утописта-идеолога и самочувствие самодержавного государя одинаково страдали в Александре от такой постепеновщины. Неограниченная власть, проникнутая притом „лучшими" намерениями, растерянно останавливалась перед собственным бессилием. „Я не имею иллюзий— писал Александр Джефферсону — относительно раз-

меров препятствий, стоящих на пути к восстановлению порядка вещей, согласного с общим благом всех цивилизованных наций и солидно гарантированного против усилий честолюбия и жадности".

Стиль мысли и речи тех времен заставлял представлять столкновение идей реформатора с противодействием среды в виде борьбы его „добродетели" с „усилиями честолюбия и жадности", мечтать о преодолении такого противодействия силою власти. На деле неодолимая оппозиция была сильна не только сплоченностью враждебных преобразованию интересов, но и тем, что интересы эти имели еще крепкую объективную основу в русской действительности. Так, защитники крепостного права указывали на значение помещичьего хозяйства в экономике страны, на крупную роль землевладельцев в колонизации слабо населенных областей и т. п., на помещичью власть, как на необходимую опору в управлении страной и массой населения, как на социальную основу имперского самодержавия. Перед Александром стояла цельная система социально-политических отношений, в корень противоречащая его принципам, а ее основу ему пришлось признать с утверждением Жалованной грамоты дворянству и восстановлением ее после павловских нарушений. Он заявлял в своем негласном комитете, что сделал это нехотя, что ему претит снабжение привилегиями целого класса, что он еще мог бы признать связь привилегий с выполнением службы государству, но не распространение их на

тех, кто ведет „праздную“ помещичью жизнь. В ту пору Александр еще не выходит из круга политических идей екатерининского „Наказа“ — бюрократической монархии и приспособления дворянства к бюрократическому режиму, как личного состава гражданских и военных органов власти. Опыт разработки административной реформы в начале царствования не дал ему никакого удовлетворения. Его мысль ищет явно иных путей для выхода из неразрешимых противоречий. Она останавливается с особым вниманием на основном аргументе в пользу самодержавия и его дворянско-крепостнической основы — на единстве обширной империи, управляемой из одного центра. Централизация усилена учреждением министерств; в этом — усиление бюрократической организации, которая должна быть органом независимой, сильной власти. Но, вместе с тем, окрепло в Александре ощущение зависимости его личной воли от вельможных верхов бюрократии, которые окружают его своими происками и интригами, ведут свою политику, действуют за его спиной. Все чаще вырываются в разных беседах слова: „я никому не верю“, все больше стремится он иметь свои личные способы осведомления и воздействия на ход дел, противопоставляет официальным органам своей власти доверенных людей, которые должны наблюдать за ними, доставлять ему сведения по личному поручению, как бы — приватно, наблюдать друг за другом и действовать по личным

его указаниям, вне установленного порядка. Мысль о едином министерстве, о назначении во главу всех ведомств людей одинакового направления, придерживающихся единой общей программы, ему глубоко антипатична. При первом же назначении высших должностных лиц в министерства он противопоставляет министрам из старшего поколения опытных дельцов, их товарищей из среды своего личного окружения; так действует и дальше, стремясь иметь своих личных агентов в разных ведомствах — негласных и полугласных, — как в делах внутренних, особенно в министерстве полиции, так и в делах иностранных, которые ведет — в важнейших вопросах — лично сам через особо командируемых с секретными инструкциями лиц, помимо своих министров, помимо своих послов при иностранных дворах. Все чаще, и с большой признательностью, вспоминает он наставления Лагарпа, которого „любит и почитает, как только благодетеля любить и чтить возможно“, те наставления, какие получил от него в 1801 году, при вступлении на престол, в ряде писем и записок. А этот республиканец, который сам с 1798 по 1800 год стоял во главе управления Швейцарской (Гельветической) республики, писал ему так: „ради народа вашего, государь, сохраните неприкосновенной власть, которой вы облечены и которую хотите использовать только на большее его благо; не дайте себя увлечь тем отвращением, какое вам внушает абсолютная власть; сохраните

ее в целости и нераздельно, раз государственный строй вашей страны законно ее вам предоставляет,— до тех пор, когда, по завершении под вашим руководством преобразований, необходимых для определения ее пределов, вы сможете оставить за собой ту ее долю, какая будет удовлетворять потребности в энергичном правительстве“; надо уметь, научал Лагарп, разыгрывать императорскую роль (faire l'Empereur), а министров приучить к мысли, что они только его уполномоченные, обязанные доводить до него все сведения о делах — во всей полноте и отчетливости, а он выслушает внимательно их мнения, но решение примет сам и без них, так что им останется только выполнение. Глубоко запало в душу Александра это представление о личной роли императора, да и образец был перед глазами яркий: Наполеон — император французов.

Однако, на опыте он скоро убедился, что это — роль трудная. Бюрократическая машина проявляла огромную, ей свойственную, самодовлеющую силу; бюрократическая среда была насыщена своими интересами, в значительной мере дворянскими — классовыми, а в текущем быту — личными и кружковыми, которые опутывали императора сетью интриг, самого его в них вовлекали и часто налагали на него сложные и напряженные стеснения. Подчинить себе эту среду, вполне господствовать над нею и чувствовать себя от нее свободным и выполнить заветы Лагарпа — было постоянной заботой Александра.

Настроения эти еще более определились и обострились в годы сотрудничества с Александром М. М. Сперанского. В Сперанском Александр, казалось, нашел себе почти идеального сотрудника того типа, о котором писал в своих заметках П. А. Строгонов, что император „естественно предпочитает людей, которые, легко улавливая его идею, выразят ее так, как он сам хотел бы это сделать, избавляя его от труда подыскивать ей желательное выражение, и представят ему ее ясно и даже по возможности изящно". Было у Сперанского еще и другое ценное для Александра свойство: попович, сделавший блестящую карьеру благодаря личным дарованиям и огромной трудоспособности, стоял одиноко на верхах дворянского общества и вельможной бюрократической среды, без прочных связей с нею, как человек, всем обязанный государю и только ему служащий. В эти годы, Аракчеев и Сперанский — две главных опоры Александра, и Сперанский больше, чем Аракчеев, черед которого был еще впереди.

„В конце 1808 года, после разных частных дел, — пишет Сперанский в письме к Александру из Перми — ваше величество начали занимать меня постояннее предметами высшего управления, теснее знакомить с образом ваших мыслей, доставляя мне бумаги, прежде к вам вошедшия, и нередко удостаивая провождать со мною целые вечера в чтении разных сочинений, к сему относящихся; из всех сих упраж-

нений, из стократных, может быть, разговоров и рассуждений вашего величества надлежало, наконец, составить одно целое: отсюда произошел план всеобщего государственного образования".

Этот знаменитый „план", который, повидимому, никогда и не был доведен до вполне законченной разработки, был, по существу, действительно выполнением той программы работ над проектом русской конституции, какую Александр наметил в негласном комитете 9 мая 1801 г. С помощью такого сведущего юриста, как Балугьянский, выполнено изучение целого ряда западно-европейских конституций и выбран из них ряд „принципов" для составления конституции русской. Сперанский был уверен, что свод законов, над которым работала комиссия под его руководством с осени 1808 г., будет скоро готов, а по его издании и введении в действие на очередь станет задача установления в России порядка, который обеспечит господство законности во всех отраслях русской государственной жизни. Такова задача „плана": наметить конституционный порядок управления, на началах разделения властей (законодательной, исполнительной и судебной), признания за всем населением гарантированных ему гражданских прав, а за его землевладельческими и городскими буржуазными элементами — прав политических, осуществляемых в форме участия их выборных в центральном и местном управлении. Однако, на деле работа и над сводом и над планом

затягивалась, вызывала не мало сомнений и возражений. Александр был склонен, поэтому, немедля провести в жизнь часть предполагаемой реформы — преобразование центральных учреждений в завершение того, что было сделано в 1801—1802 гг. Цель этой предварительной реформы Сперанский определил, как задачу „посредством законов и установлений утвердить власть правительства на началах постоянных и тем самым сообщить действию сей власти более правильности, достоинства и истинной силы". Вопрос о силе правительства всего более интересовал Александра: ведь и Лагарп ставил удовлетворение потребности в энергичном правительстве критерием для конституционного ограничения власти в некоторой ее доле, а в „Наказе" своем Екатерина заявляла, что „самое вышнее искусство государственного управления состоит в том, чтобы точно знать, какую часть власти, малую ли или великую, употребить должно в разных обстоятельствах". Сперанский так определил это понятие в особом докладе Александру во время их совещаний: „сила правительства состоит в точном подчинении всех моральных и физических сил одному движущему верховному началу власти, и в самом деятельном и единообразном исполнении всех ее определений". Если „сила государства есть масса всех его сил моральных и физических", то „сила правительства есть соединение и направление сих самых сил к известной и определенной цели". Как

бы ни было государство „в самом себе сильно“, оно без силы правительства не может долго сохранить себя „в настоящем положении Европы“ (1811 г.). И далее доклад Сперанского развивает целое учение об устоях государственного абсолютизма: 1) первый источник силы правительства суть законы, если они оставляют правительству довольно власти для плодотворного действия, а по нужде—для принятия скорых и сильных мер; власть должно различать от самовластия, которое всегда „имеет вид притеснения“, даже когда поступает справедливо; поэтому „правильное законодательство дает более истинной силы правительству, нежели неограниченное самовластие“: оно обеспечивает правительству доверие страны; 2) организация управления, обеспечивающая ему единство и правильное разделение дел; 3) воспитание, которое должно быть совершенно в руках правительства, чтобы подчинить себе и „ввести в свои виды“ подрастающие поколения; 4) воинская сила, которая в отношении и к внешней безопасности и к внутренней силе правительства — „есть верх и утверждение всех других сил государственных“, так как без нее ни законы, ни управление действовать не могут; и Сперанский добавлял, что „сей род силы правительство наше имеет в весьма нарочитой степени совершенства“. Наконец, 5) финансы: „обилие государственных доходов“, причем Сперанский, под явным впечатлением острой критики его финансовой политики в разных „опасных совещаниях“, как он

их называет, протестует против „безмерной нежности и чувствительности к нуждам народным“ против популярничанья в возражениях на меры к увеличению казенных доходов, напоминая, что доходы эти нужны власти для защиты и покровительства частной собственности и что, увеличивая их, правительство только требует возвращения того, что „ложными советами было от него отторгнуто и в частные руки захвачено“.

В этом докладе[1]) Сперанский весьма четко подвел итог своим беседам с Александром по некоторым, для Александра важнейшим, темам: получилось цельное учение о „силе правительства“, которая создается государственным властвованием над всеми материальными и духовными силами населения, с опорой в дисциплинированной, безусловно покорной силе воинской, в стройном бюрократическом управлении, в казенном воспитании, подчиняющем „видам“ правительства общественные настроения и воззрения, в энергичной экономической и финансовой политике, подчиняющей себе всю хозяйственную жизнь страны, а обеспечена и оправдана должна быть установлением законности во всем течении дел государственных, с помощью свода законов и конституционных гарантий. Последнее представлялось наименее выполнимым и, при данных условиях, преждевременным. Правда, Сперанский, в порыве свой-

---

[1]) „Русская Старина“, 1902, декабрь.

ственного ему кабинентного оптимизма, полагал, что было бы „блистательнее“ закончить выработку всех установлений „плана“ и ввести его в жизнь „единовременно“ во всех его частях, но Александр стоял за большую постепенность реформы. Решено было пока, как в 1801—2 гг., ограничиться преобразованием центрального управления.

1 января 1810 года произошло торжественное открытие нового государственного совета. В речи (написанной Сперанским) Александр назвал это учреждение принадлежащим „к самому существу империи“, а в его уставе—его компетенция и устройство определялись „коренными“ законами. Александр объявил совет „средоточием всех дел высшего управления“, так как его задача — соображать эти дела с точки зрения действующего законодательства (отсутствия противоречий и необходимых дополнений в законах), и все новые постановления только через совет должны восходить к верховной власти на окончательное утверждение и исполнение. При всем только совещательном значении суждения государственного совета (государь мог утвердить и мнение меньшинства), оно настолько считалось необходимым, что в текст публикуемых узаконений введена формула: „вняв мнению государственного совета“,—как будто высочайшие повеления почерпают, не юридическую силу, конечно, но авторитетность свою от участия государственного совета в их выработке.

Летом 1811 г. опубликовано „общее учреждение министерств“, которым организация их приведена в стройную систему. Завершить эти реформы предстояло преобразованием сената, с разделением его на судебный, как центр независимого суда, на постановления которого не должно было быть апелляции к верховной власти, и правительственный, который должен был заменить комитет министров с упразднением личных их докладов государю. Этот проект был, однако, отложен и не был осуществлен, хотя Сперанский настаивал перед Александром, что „без устройства Сената, сообразно устройству министерств, без средоточия и твердой связи дел, министерства всегда будут наносить более вреда и ему забот, нежели пользы и устройства“.

На этих работах со Сперанским окончательно выяснилось, насколько Александру чужда и антипатична основная тенденция всей, долго обсуждавшейся, бюрократическо-конституционной реформы: устранение из практики самодержавного государства приемов личного управления, обеспечивавших императору преобладающее влияние во всем верховном управлении. Даже утверждение безапелляционности сенатских приговоров сильно смущало Александра: как ему отклонять просьбы о защите попранного права? А разве сенат заслуживает полного доверия к своим решениям? Ведь и Лагарп настаивал, чтобы он сохранил за собой право вмешательства в решения судебных учреждений, особенно высших, чтобы не

допускать их до укоренения злоупотреблений и усиления своего веса за его счет; без рационального свода законов, без коренного преобразования процессуальных порядков не может, настаивал он, быть речи о независимости русских судебных учреждений. Далее, общий смысл реформы 1810 г., для Александра — умаление личной роли императора в делах правления, получил особый оттенок, благодаря исключительному значению, какое приобрела должность государственного секретаря. Под его управлением стояла государственная канцелярия, которая имела огромное влияние на направление деятельности совета, так как подготовляла все дела и доклады. А личное положение государственного секретаря М. М. Сперанского, ближайшего лица к государю, превращала это влияние в давление, почти неотразимое; в его же ведении была и комиссия составления законов, тем самым обращенная, собственно, в одно из отделений государственной канцелярии; журналы совета представлял государю и докладывал тот же государственный секретарь Сперанский, влияя на его резолюции своим освещением всякого вопроса. „Государственная канцелярия вместе с комиссией составления законов образовали, по выражению С. М. Середонина, министерство преобразований“, во главе которого — не он, Александр, а Сперанский.

„Сперанский вовлек меня в глупость — говорил он позднее, после разрыва с этим сотрудником своим; — зачем я согласился на государственный совет

и на титул государственного секретаря? Я как будто отделил себя от государства"... И то смущало Александра, что многие приписывали такое же значение учреждению министерств: в нем, так же, как в учреждении совета, наиболее консервативные группы видели „хитрый подкоп под самодержавие", утверждали, что теперь „Россией управляют министры". Александр вспоминал советы Лагарпа и начинал поговаривать, что „учреждение министерств есть ошибка". Понятно, что сосредоточение всей министерской работы в правительствующем сенате не было осуществлено. Александр сохранил более подручное себе учреждение — комитет министров, предоставил ему чрезвычайные полномочия в те годы, когда был сам поглощен борьбой с Наполеоном (1812—1815), но, недовольный во многом деятельностью его личного состава, под руководством особого председателя — своего заместителя, Н. И. Салтыкова, — он оставил за комитетом значение средоточия всей правительственной власти, однако, отдал его под суровую и властную опеку Аракчеева, единственного докладчика государю по всем делам и фактического автора его резолюций в последние годы царствования.

Однако, практическое подчинение всего управления диктатуре комитета министров, выродившейся в диктатуру Аракчеева, не означало для Александра отказа от дальнейшего развития планов коренной реформы всего политического строя империи. Проделанный опыт преобразования центральных учре-

ждений настроил Александра недоверчиво и враждебно к бюрократической централизации, устремившейся к конституционному закреплению своей силы. В ней он усмотрел наибольшую опасность для своей утопии соглашения самодержавной власти с „законно-свободными учреждениями“, полноты личновластного руководства всей политической жизнью со стороны монарха с предоставлением гражданам прав политических и гарантии их личных и имущественных интересов от всякого произвола. В сотрудничестве со Сперанским, в эпоху работы его над „планом всеобщего государственного образования“ мысль Александра значительно расширилась и обогатилась новыми сведениями и представлениями, так как „план“ Сперанского охватывал, действительно, „всеобщее“ образование государства, строя его на реформе местного управления, которого лишь увенчанием была, и то, повидимому, не сразу, поставлена „государственная дума“. Позднее — в 1816 г. — Сперанский развивает (в письмах к Кочубею и своих заметках) мысль о новом уставе для управления губерний, как о задаче первоочередной, решение которой неизбежно приведет к преобразованию „внутреннего гражданского порядка“ (Сперанский пришел к выводу, который цифрами обосновывал, что на дворянстве преобразованного строя, соответствующего экономическому и культурному подъему страны, не построить) и должно предшествовать преобразованиям политическим, чтобы можно

было их провести в жизнь „с прочною пользою и без потрясений“; но это были лишь дальнейшие выводы из положений первоначального плана. Несомненно, что проблема децентрализации управления рано, хотя бы и в мало отчетливой форме, стала перед Александром. Несомненно и то, что много было в ней соблазнительного для его колеблющейся, ищущей мысли. Интерес к федерализму был в нем возбужден еще Лагарпом; он сказался и в их сношениях с президентом Джефферсоном, чтобы получить более отчеливое представление о политическом и административном строе Северо-Американских Соединенных Штатов. В годы „тильзитской дружбы“ мысль Александра получила новый толчок в этом направлении в связи с вопросом об устройстве новых окраин империи, особенно западных — Финляндии, Литвы, Польши. Возложенная на Сперанского работа над проектом финляндской конституции стояла в прямой связи с планами общего переустройства империи. Можно с уверенностью принять „догадку“ С. М. Середонина, что „Финляндии предназначалась такая же, приблизительно, конституция, которая вырабатывалась тогда и для всей России“, тем более, что на „план“ Сперанского в том виде, в каком он до нас дошел, не следует смотреть, как на окончательную схему ее основ. Финляндская конституция 1809 г. была в замысле Александра лишь опытом областного применения начал, на которых он собирался перестроить

все свое государство. Конституция обеспечивала населению его гражданские и политические права, организовывала на автономных началах местное финляндское управление, но органы верховного управления, как разъяснял Сперанский финляндцам в 1811 г., — финляндский совет и должность генерал-губернатора, — были устроены „не по праву конституции, но по единому усмотрению правительства", а постановлениям сейма приписывалось только совещательное значение, хотя и обеспеченное конституционными узаконениями; в декабре 1811 г., в состав великого княжества Финляндского введена и „старая Финляндия", инкорпорированная Россией при Петре и Елизавете. В то же время обсуждалось, аналогичное с финляндским, автономное устройство великого княжества Литовского, вводилось особое управление в Тарнопольской области — восточной части Галиции, отошедшей к России по Шенбрунскому миру 1809 г., разрабатывалось будущее устройство Молдавии и Валахии, в присоединении которых к империи были тогда уверены. Бурные годы борьбы с Наполеоном и переустройства Европы на Венском конгрессе поставили на очередь польский вопрос, давно занимавший Александра, а теперь принявший конкретные очертания. Восстановление Польши в той ее части, которая получила название „царства Польского", введение в ней конституции и открытие первого польского сейма в 1818 г. — были для Александра дальнейшими шагами в замышляемом

им переустройстве империи. Знаменитая речь его сейму в 1818 г. была общей его декларацией о „законно-свободных учреждениях“ (institutions liberales — французского текста), которые были „непрестанно предметом его помышлений“ и „спасительное влияние“ которых он надеется распространить на все свои владения; в Польше их оказалось возможным ввести теперь же, потому что она к тому подготовлена организацией, ранее существовавшей в этой стране. Польша дала таким образом Александру „средство явить его отечеству то, что он уже с давних лет ему приуготовляет и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости“. Александр призывает поляков раскрыть на деле консервативную, охранительную основу „законно-свободных учреждений“, принципы которых напрасно смешивают с революционными, тогда как они, если осуществлять их разумно и добросовестно, „совершенно согласуются с порядком“. Конституционная организация Польши, подобно финляндской, была для Александра шагом к все тому же преобразованию империи. Первой мерой к этой более общей цели намечалось Александром (еще в „главном акте“ Венского конгресса, как и в особом трактате между Россией и Австрией относительно Польши) предположенное им „дарование этому государству, пользующемуся особым управлением, внутреннее распространение, какое он найдет удобным“. Под „внутренним

распространением“ (extension — франц. текста) разумелось определение территории Польши со стороны русской империи, так как венскими трактатами опрелелялись только ее внешние для империи пределы. Тогда же были заключены между тремя соседними державами соглашения, которые должны были обеспечить свободу торгового обмена между „всеми областями и округами, составлявшими прежнее королевство польское“, — с пояснением: „как оно было до 1772 года“. Очевидно, что Александр не считал территории царства Польского, как она сложилась из отошедших под его власть земель бывшего княжества Варшавского, законченным целым, а рассматривал область прежней Польши в пределах до 1772 года, т.-е. до первого раздела, как район, объединенный экономическими и культурными (польскими) интересами. Такое воззрение на земли, отошедшие к России по польским разделам, сказалось и раньше в деятельности Виленского учебного округа, под управлением кн. Адама Чарторыйского (с 1803 г.), и позднее — в объединении военного управления западно-русских губерний с командованием военными силами царства Польского в руках великого князя Константина Павловича, а политического — в руках комиссара по организации царства Польского, Новосильцева. Подготовлялось, не иначе, однако, как в связи с общим переустройством империи, объединение всей этой территории в одну местно-автономную область.

Подготовкой соответственной общегосударственной реформы был проект 1816 года о разделении всей империи на 12 наместничеств; во главе каждого — наместник с обширными полномочиями по всем отраслям управления, с правом приостанавливать исполнение сенатских указов и министерских предписаний, при их несоответствии местным условиям, и делать непосредственные представления императору по всем делам через комитет министров. В то же время проведено и разделение военных сил на две армии — северную и южную, и пять отдельных областных корпусов; кроме литовского, поставленного в связь с польской армией, это корпуса: финляндский, оренбургский, сибирский и грузинский (с 1820 г. — кавказский). Сперанский был прав, когда, привлеченный по возвращении из почетной ссылки к разработке этого проекта, характеризовал должность наместника или генерал-губернатора, как учреждение, стоящее в ряду высших, по существу центральных государственных учреждений: „министерское установление — писал он — будет иметь два вида: один — общий, в коем все дела разделяются по предметам, другой — местный, в коем дела разделяются по округам". На деле получилось бы, конечно, неразрешимое противоречие между министерской централизацией и наместнической децентрализацией верховного управления. Но мысль Александра вполне раскрывалась не в этом проекте бюрократической децентрализации, которая ему представлялась системой управления страной

при посредстве полномочных и лично доверенных лиц, более гибкой, чем громоздкая машина министерской организации, а в конституционном проекте 1818 года. По этой „государственной уставной грамоте Российской империи“, которую Новосильцев спроектировал по поручению Александра, Российское государство „со всеми владениями, присоединенными к нему под каким бы наименованием то ни было“ (т.-е. и с Финляндией, и с Польшей), разделяется, применительно к областным особенностям населения, географического положения, нравов и обычаев, особых местных законов, на большие области — наместничества. Только обе столицы с их областями изъяты из такого деления. Общегосударственное управление остается за императором, однако, при содействии государственного сейма и 10 ответственных по суду за нарушение уставной грамоты министров. Наместник управляет при содействии совета из членов, частью назначенных от министерств, частью избранных от губерний; сеймы наместнических областей — орган „народного представительства“ для рассмотрения местных узаконений, а иногда, по почину государя, и общих, — избирают „земских послов“ в сейм государственный.

Осуществление этого проекта должно было, очевидно, разрешить, по мысли Александра, две задачи: уничтожить тяготившую его зависимость императорской власти от столичной вельможно-бюрократической среды и обеспечить единство империи полным

слиянием с нею Финляндии и Польши. Особые конституции этих стран должны были бы превратиться, при введении общей имперской конституции, в „органические статуты“, какие предстояло выработать в развитие государственной уставной грамоты для каждой области. Новосильцев набросал уже и проект особого указа о превращении царства Польского в имперскую область по общей конституции с переименованием польской армии в западную армию Российской империи. Заготовил и проект манифеста, объявляющего эту конституцию и поясняющего ее начала, с успокоительным заявлением, это эта конституционная грамота не вводит ничего существенно нового в государственный строй, а лишь упорядочивает и развивает присущие ему начала. Незначительный объем предоставляемых населению политических прав, сохранение всей инициативы и всей правительственной силы в руках государя и его наместников — согласовали в понимании Александра подобные проекты с сохранением всей полноты самодержавия, которым он, как личной властью, жертвовать не думал и о котором в те же годы говорил, что обязан его вполне передать своим наследникам.

Александр любил говорить сочувственно о свободе, но понимал ее в духе просвещенного абсолютизма, как право делать то, что законами дозволено, противополагая ее только личной зависимости от незакономерного произвола; ее лучшая гарантия — сила законной правительственной власти; ей не про-

тивоположно самодержавие, поскольку его назначение (согласно определению екатерининского Наказа) не в том, чтобы „у людей отнять естественную их вольность“, а в том, чтобы „действия их направить к получению самого большого изо всех благ“. Правда, Александр признал необходимость подчинения верховной власти конституционным ограничениям, но лишь поскольку это необходимо, чтобы страна не стала „игрушкой в руках каких-либо безумцев“, и лишь настолько, чтобы „сила правительства“ не потерпела стеснения в руководящей политической своей деятельности. „Законно-свободные“ учреждения должны не стеснять этой силы, а служить ей надежной опорой, на-ряду с двумя другими: дисциплинированной и надежной армией и системой народного просвещения, воспитывающей граждан согласно с „видами правительства“. Эти две проблемы — о надежности войска и духовном подчинении общественной массы — получили особое значение для Александра в связи с развитием обще-европейских событий. Эти события и его активное участие в них вообще сильно усложнили его политическую идеологию, пока не довели ее до полного краха на вопросе, который все глубже и острее развертывался перед его сознанием: о взаимных отношениях между Россией и Западом.

4.

Россия и Европа: борьба с Наполеоном.

В 1812 году Лезюр, чиновник французского министерства иностранных дел, выпустил в свет второе издание своей книги: „О развитии могущества России от ее возникновения до начала 19 века“, а в издании этом привел, в дополнение к аргументам первого издания — 1807 г., — новое доказательство, что существует чудовищный план порабощения Европы Россией, намеченный Петром Великим и систематично выполняемый его преемниками. Лезюр извлек это доказательство из записки, представленной в 1797 г. французской директории польским полковником Михалом Сокольницким, под заглавием: „Взгляд на Россию“. Тут приведено обстоятельное „резюме плана расширения России и порабощения Европы, начертанного Петром I“. Сокольницкий пояснял, что этот план раскрыт ему изучением России и сведениями, почерпнутыми из варшавских архивов в 1794 г. Лезюр уже утверждал, что такой „документ“ — „завещание“ Петра — „существует в особых архивах Российской имерии“, а позднее, в 1836 г., Гальардэ (сотрудник Александра Дюма) опубликует это завещание с началом: „В имя пресвятой и нераздельной Тройцы, мы, Петр, император и самодержец всей России“... и т. д. Впрочем,

и Сокольницкий, повидимому, использовал мысль, которая была в ходу среди дипломатов конца 18 века: австрийский посол при дворе Екатерины, Кобенцль, упоминал в своих депешах 1796 г. о политическом завещании Петра.

В этом любопытном изложении заветы Петра его преемникам по управлению империей так представлены: усилить Россию насаждением в ней европейской культуры и развитием ее боевой силы в ряде непрерывных войн; расширить ее территорию вдоль Балтийского побережья и на юг, к Черноморью; подготовить покорение Швеции, поддерживая против нее Англию, Данию и Бранденбург, и завоевать ее; развить русскую армию и захватить Константинополь, привлекая Австрию к изгнанию турок из Европы; поддержкой в Польше анархии подготовить ее расчленение; держаться тесного союза с Англией, предоставляя ей широкие, хотя бы монопольные, торговые выгоды, чтобы развить русский флот, по образцу английского, для господства на Балтийском и Черном морях; вмешиваться во все внутренние раздоры Европы, особенно, Германии, для ее ослабления и усиления русского влияния на Западе; возбуждать против Австрии германских князей, подчиняя их своему влиянию путем брачных союзов с германскими владетельными домами; покровительствовать православному населению Польши, Турции и Венгрии, чтобы, по разрушении первых двух, покорить и третью, предоставив за нее

Австрии вознаграждение в Германии; и, наконец, „нанести великий удар", т.-е., начав с раздела власти над Европой то с Францией, то с Австрией, вызвать смертельную борьбу между этими странами, поддержать Австрию, чтобы продвинуть свои войска на Рейн, а в тылу их подготовить нашествие „азиатских орд" морем из Азова и Архангельска для порабощения всей Западной Европы — и Франции, и Испании, и Италии...

Мысль о русской опасности для западно-европейского мира пользовалась большим успехом в европейской дипломатии и публицистике первой половины 19 века. И в эпоху Венского конгресса английские дипломаты высказывались против перехода Варшавского герцогства под власть Александра, потому что опасно усиливать Россию: ее замысел— расшириться по Зунд и Дарданеллы, превратить и Балтийское и Черное моря во внутренние моря своих имперских владений. Англичане предпочли бы видеть Польшу — независимым государством, промежуточным („буферным", как нынче говорят) между тремя великими монархиями — Россией, Австрией и Пруссией, — или отдать ее Пруссии, лишь бы не увеличивать русской империи.

Англичане усматривали опасное проявление русского империализма в инициативе, какую взяло на себя русское правительство по вопросу о защите морской торговли от чрезмерного ее утеснения в периоды войн между морскими державами.

Вооруженный нейтралитет, организованный Екатериной II в 1780 году, был признан в Англии попыткой „подорвать самую основу морского могущества Англии“; восстановление Павлом союза нейтральных держав для охраны их торговли от каперства держав воюющих было направлено против деспотического господства Англии на морях. Прекратив войну с Англией тотчас по вступлении на престол, Александр в июне 1801 подписал конвенцию, в которой — отречение России от начал вооруженного нейтралитета. Однако, вопрос этот остался острым пунктом разногласий между русским и английским правительствами, даже в период англо-русского союза, в годы коалиции против Наполеона, войны с ним, которую Александр вел на английскую субсидию. Крайняя зависимость русской торговли и промышленности от Англии тяготила, как и решительное хозяйничанье английских каперов в Черном и Балтийском морях. Русское правительство настаивало на признании этих морей закрытыми и для английских военных судов и корсаров, на снятии блокады даже с устьев Эльбы, в виду важности для России торговли с Гамбургом, а захват англичанами Копенгагенского порта—ключа к Балтийскому морю—вызвал в Петербурге большое раздражение. В годы союза, 1805—1807, русское правительство заявляет протесты против насилий английских каперов над русскими коммерческими судами, а в обмене мнениями об условиях будущего общего мира подымает

вопрос о частичном хотя бы пересмотре принципов „морского кодекса“, как существенного элемента международного права, тему, которую англичане упорно устраняют из программы будущих переговоров на мирном конгрессе. На суше империя традиционно стремилась к полному господству в Восточной Европе, обеспеченному с Запада возможно выгодной военной границей, какой представлялась „граница по Висле“, а в предельных мечтах русской дипломатии — прямая линия от Данцига на Торн и Краков.

Опасение русского засилья в европейских делах — яркая черта всей европейской политики первой половины 19 века, нашедшая такое крайнее выражение в „тестаменте“ Петра Великого, этом польско-французском помфлете против „северного колосса“.

Но для Англии это опасение, на котором сходились правительство с оппозицией, было лишь одним из проявлений стародавней и постоянной заботы о том, как бы континентальная Европа не объединилась в прочной политической организации под гегемонией одной из великих держав. Испанию 16, королевскую Францию 17 веков сменила в начале 19 великая империя Наполеона. Напрягая все силы и средства в борьбе против этого нового призрака мировой монархии, „владычица морей“ защищала свое мировое экономическое господство, расширяла его колониальную базу и настойчиво поднимала про-

тив Франции одну коалицию за другой. Франция, чьи национальные силы, возбужденные революцией, искали выхода в мощном расширении своего господства, в империалистическом порыве, создавшем своего героя, была, в данный момент, наиболее опасным врагом. Однако, руководители английской политики, обсуждая желательный исход многолетней борьбы, предусмотрительно отстраняли всякие политические проекты, осуществление которых могло заложить основу для смены французского преобладания какой-либо иной общеевропейской гегемонией: поддерживали своими внушениями взаимное недоверие континентальных держав, то пугая соседей России перспективой чрезмерного роста ее силы, то возражая в Петербурге против берлинских планов подчинения германского союза главенству Пруссии.

А, между тем, Европа переживала огромный кризис, который, казалось, должен привести к коренной ломке всех исторически сложившихся государственных единиц, на которые она поделена. Подобно тому, как революционная перестройка гражданских отношений внутренно перестроила Францию, глубже ее объединила в единую мощную нацию, революционная идеология представляла себе всю Европу освобожденной от государственных границ старого режима и его правительств, объединенной в „братстве народов“, обновивших свою внутреннюю жизнь на тех же принципах равенства и свободы не только в гражданском быту отдельных стран, но и в между-

народных отношениях. Подъем экономических сил к развитию, освобожденному от последних пут феодального режима, должен был, по смыслу этих идеалов, охватить весь континент Европы, сокрушая международные грани для широкого, свободного общения и обмена народов плодами их труда и культуры. На деле космополитические порывы Великой французской революции быстро исказились в росте французского национализма, революционные войны выродились в ряд завоеваний, „братство народов"— в подчинение завоеванных стран французскому господству с тяжкой их эксплуатацией для усиления расстроенных финансов Франции и для ее торгово-промышленного преобладания.

На смену революционной Франции пришла Франция директории, консульства и империи с ее безудержным и хищным империализмом. Однако, великое революционное дело было сделано. Открыты были пути к обновлению всех общественных отношений на началах свободы и гражданского равенства, а пример французского национального движения и гнет французского господства выковали стремление отдельных наций к политическому самоопределению. На очереди стояла задача международного мира и новой организации Европы. Путь к ее решению шел через преодоления наполеоновской утопии — мировой монархии императора французов.

Задачу „умиротворения Европы" Александр унаследовал от отца. Но Павел мечтал о восстановлении

традиционных основ старого порядка, монархического и феодального, пытался объединить против революции реакционные силы аристократической и католической Европы; гросмейстер Малтийского ордена, он — покровитель иезуитов и эмигрантов, всех роялистов и церковников старого мира; на первых порах, он легко сошелся в этих планах с Австрией, хранилищем средневековых традиций, и Англией, которая тратила большие усилия и средства на поддержку роялистических и аристократических контрреволюционных смут в недрах самой Франции. Только вражда к деспотизму морского могущества Англии, отказ обслуживать русскими силами корыстные цели английской политики и завоевательные стремления австрийцев в Италии привели Павла к разрыву с коалицией и даже к союзу с Наполеоном, когда тот стал на путь военно-полицейского цезаризма и предложил Павлу раздел власти над миром ради водворения общего „успокоения и порядка".

Александр сразу иначе поставил основания этой международной задачи. Он не мог обосновывать свою политику реакционными феодально-монархическими и клерикальными принципами. Он видел силу Франции в освобождении масс к гражданской свободе от крепостничества, от цеховой связанности ремесла, от пут старого режима вообще. Борьба с ней не должна быть служением реакции. В первом приступе к серьезным переговорам с Англией о задачах антифранцузской коалиции, в инструкции Но-

восильцеву, отправленному с чрезвычайной миссией в Лондон, Александр — в 1804 г. — так рассуждает: „Наиболее могущественное оружие, каким до сих пор пользовались французы и которым они еще угрожают всем странам, это — общее мнение, которое они сумели распространить, что их дело — дело свободы и благоденствия народов. Было бы постыдно для человечества, чтобы такое прекрасное дело пришлось рассматривать, как задачу правительства, ни в каком отношении не заслуживающего быть его поборником. Благо человечества, истинная польза законных властей и успех предприятия, намеченного обеими державами, требуют, чтобы они вырвали у французов это столь опасное оружие и, усвоив его себе, воспользовались им против них же самих“. Необходимо поэтому согласиться с Англией на отказе от мысли „повернуть человечество назад“, т.-е. от намерения восстановить в странах, освобождаемых от власти Наполеона, старые злоупотребления и тот порядок, от которого народ отвык, воспользовавшись освобождением и лучшей гарантией своих прав. Напротив, задачей держав должно быть — обеспечить за населением эти достижения, и всюду устанавливать такой правительственный порядок, который был бы основан на особенностях данной страны и воле ее населения; в частности, и французам надо внушить, что война ведется коалицией не против французского народа, а против его правительства, „столь же тираннического для самой Франции, как и для осталь-

ной Европы". Подражая в этом революционной Франции, Александр рассчитывает, что, твердо придерживаясь таких принципов, коалиция вызовет общий энтузиазм и переход на свою сторону всех народов. Но мысль его идет еще дальше. „Не об осуществлении мечты о вечном мире идет дело—читаем в той же инструкции; —однако, можно приблизиться во многих отношениях к результатам, ею возвещаемым, если бы в трактате, который закончит общую войну, удалось установить положение международного права на ясных и точных основаниях", провести, согласно с ними, всеобщее умиротворение и „учредить лигу, постановления которой создали бы, так сказать, новый кодекс международного права, который, по утверждении его большинством европейских держав, легко стал бы неизменным правилом поведения кабинетов, тем более, что покусившиеся на его нарушение рисковали бы навлечь на себя силы новой лиги".

Такова общая идея Александра, сформулированная в секретной ноте-инструкции от 11 сентября 1804 г. В ней же намечены общие соображения о будущем переустройстве Европы: оно должно руководиться рациональными основаниями; прежде всего — границами, какие для данной страны начертаны самой природой, ее естественными горными или морскими границами, а, в частности, — необходимыми для нее выходами на международные торговые пути, ради сбыта произведений ее почвы и

промышленности; далее — необходимо было бы, чтобы каждое государство состояло из однородного населения, подходящего для согласного объединения под одним управлением.

В этой инструкции молодого императора — смелая попытка обновить программу политики держав старого порядка идеями нового мира, порожденными революционным порывом европейской жизни к более широкому и свободному развитию, но, в то же время, преодолеть этот бурный порыв, вводя его в организационные рамки „законного" правительственного режима. Александр еще не боится общественного энтузиазма. Верный воспитанник века просвещения, он видит в революционном направлении этого энтузиазма только плод тактической ошибки старых монархий, не сумевших во-время взять в свои руки знамя свободы и равенства и ввести осуществление этих принципов в рамки „законно свободных" учреждений, организуемых и руководимых законной монархической властью. Обновленная работа этой власти должна быть организована в международном масштабе, и на развалинах старой Европы вырастет новая, под руководством постоянной „лиги" наций, которая приблизит мир к идеалу вечного мира — в отношениях между правительствами и населением их стран и между отдельными странами-государствами. Мысль о таком объединении Европы ради устранения международных конфликтов — мысль 18 века. Наиболее известным ее выражением был

„Проект трактата, чтобы сделать мир постоянным“ аббата Сэн-Пьера, опубликованный в 1713 году; тут речь шла о „христианской республике“ — своего рода европейской федерации, с разбором всех конфликтов на общих конгрессах, под гарантией общей вооруженной силы; мысль, весьма популярная в идеологических кругах: в 20-х годах 19 века ею увлечен А. С. Пушкин, убежденный, что правительства, совершенствуясь в своем строе и в своей политике, постепенно водворят вечный и всеобщий мир, и что „тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия“. Поэт чутко отметил полицейски-нивеллирующую и подавляющую „страсти“ тенденцию пацифизма.

Программа 1804 года ляжет в основу всей международной деятельности Александра. Она тесно связана с той его политической идеологией, которую он себе вырабатывает на вопросах внутренней политики, на планах преобразования своей империи. Укрепить „силу правительства“ такой ее организацией, чтобы она действовала не иначе, как на пользу важнейшим интересам населения, обосновать ее на полной гармонии власти и населения, дисциплинированного и законопослушного, не за страх, а за совесть преданного своим законным государям, насадителям общего блага, перестроить международные

связи на началах, обеспечивающих прочность всеобщего мира, сделать раз навсегда излишними и войны, и революции — таковы идеи этой утопии. Рациональное преобразование России и Европы для Александра — две части одной задачи. „Россия есть европейская держава“ — рассуждала Екатерина в своем „Наказе“; Петр вводил европейские нравы и обычаи в своем европейском народе, тем легче, что прежние, бывшие в России нравы совсем не подходили к ее естественным условиям, а были принесены внешней случайностью: „смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей“; Петр только восстановлял европейскую сущность русской народности. Россия — европейская страна, а Европа сознается в 18 веке, как единое культурно-историческое целое. Вольтер развивает мысль, что страны Европы — „одна семья“, обединенная религией, учреждениями, культурой, а в политику это воззрение вводится, преимущественно, австрийской дипломатией с консервативной целью противопоставить „политическую Европу, признающую общие права и общие обязанности“ разрушительным действиям революционной Франции и призвать все державы к защите „общего мира, спокойствия государств, неприкосновенности владений и верности трактатам“.

Но то, что для автора этих призывов, Кауница, как позднее для Меттерниха, — основа непримиримой реакции, то для Александра — арена исканий прочного компромисса между старой властью и новыми по-

требностями народной жизни. Разочарование в преобразовательных опытах первых лет выводят его на международное поприще. Только в общеевропейском масштабе представляются ему разрешимыми те задачи, какие он себе поставил в деле внутреннего преобразования империи. Тем более, что между этими внутренними имперскими проблемами и судьбами Европы есть связующее звено — польский вопрос.

Александр привлек к управлению иностранными делами России друга своей юности, князя Адама Чарторыйского, в уверенности, что польскому патриоту не придется на этой службе отрываться от служения интересам польской родины. Александр решительно осуждал, подобну отцу, раздел Польши, не только, как деяние, нарушавшее и подрывавшее те самые принципы международного права и рациональной справедливости, которые он собирался восстановлять, но и как политический акт, ослаблявший положение России на западной границе в пользу Пруссии и Австрии. В совещаниях Александра с Чарторыйским речь идет о присоединении к владениям русского императора, который примет титул короля (царя) польского, всех земель Польши до первого ее раздела, так, чтобы имперская граница прошла от Данцига к истокам Вислы и по Карпатам к истокам Днестра. Зато территории Пруссии и Австрии предположено расширить к Западу, хотя бы пришлось предоставить Пруссии Голландию, Австрии — владения в южной Германии и даже Италии. Поли-

тическое равновесие Европы надо строить на пяти державах: Англии и России, Франции, Пруссии и Австрии; руководящая роль сохранится за англо-русским союзом, так как остальные три слишком разрознены в интересах. Но существенно сохранить им противовес в Испании с Португалией, в Италии, которую лучше бы охранить от австрийского господства, объединив ее государства федеративной связью, по мысли Питта, и в самой Германии. Объединение этой страны в едином государстве едва ли возможно, да и нежелательно: лучше — полагал Александр, — в духе традиций дипломатии 18 века, выделить из нее и Австрию, и Пруссию, а из остальных германских государств построить крепкий союз. При таком разделении Европы, особенно в виду исконного соперничества Англии и Франции, Россия получит преобладающее влияние в делах. Восточный вопрос лучше, пока, на очередь не ставить, но если в ходе событий рухнет неустойчивое равновесие на Балканском полуострове, то следует иметь в виду разделение европейских владений Турции на несколько автономных областей, соединенных в федерацию под протекторатом русского императора, или частичный их раздел с предоставлением Австрии сербо-хорватских земель, а России — Константинополя и проливов, Молдавии и части Валахии.

Политика принципов наполнялась в этих проектах 1804 г. весьма конкретным империалистическим содержанием. Путь к осуществлению всех этих планов

вел через борьбу с Наполеоном за господство над Западной Европой.

Английский премьер Питт сравнивал кризис, переживаемый Европой под напором французской силы, с тем, какой вызвала в конце 17 века завоевательная политика Людовика XIV. „Спасителем Европы“ явился тогда Вильгельм Оранский, воодушевивший все державы на коалиционную борьбу с Людовиком: к этой роли призывал Питт Александра. Подобная перспектива увлекала русского императора. Размышления над нею и разработка соответственной политической программы выводили его идеологию на те широкие пути, которые определились в планах 1804 года. Но, по существу, они не были подсказаны Александру со стороны: в них много павловского наследия, переработанного в новом духе.

Основными элементами коалиции должны были стать Россия и Англия, Пруссия и Австрия. Для Англии ее борьба с революционной и с наполеоновской Францией была продолжением их векового соперничества на почве колониальной политики и стремления Франции развернуть свои экономические силы развитием самостоятельной французской морской торговли. Англия упорно защищала свое морское господство. И для Александра в этом был труднейший пункт его конечного плана — установить прочную систему международного права: программная инструкция 1804 года отмечает эту наиболее трудную задачу — убедить Англию в необходимости пе-

ресмотра ее „морского кодекса“ для обеспечения прав и интересов других держав на началах „порядка и справедливости“. Еще сложнее был вопрос о русско-прусских отношениях. Александр унаследовал от отца глубокую симпатию к Пруссии, как образцу гатчинской военщины и гатчинской дисциплины. Летом 1802 г. он едет в Мемель посетить митрополию своей гатчинской школы, „расширить свои познания в военном строе и парадах“, которым придавал „большую важность и обладал почти в такой же степени, как и его брат Константин“ (по свидетельству кн. Чарторыйского). Семейные симпатии и традиции делали, с другой стороны, прусскую королевскую семью — не чужой для него, не иностранной, а родственной и близкой. Личная дружба с Фридрихом-Вильгельмом, очарование прекрасной королевы Луизы, которому и современники и потомки склонны придавать крайне преувеличенное значение даже в политике Александра, закрепляли эти прусские связи, выразившиеся в октябре 1805 года, накануне Аустерлица, пресловутой клятвой вечной дружбы двух государей у гроба Фридриха Великого. Пруссия, как по своему законченный тип военно-бюрократического государства и патримониального монархизма, и без того занимала большое место во всем складе воззрений и симпатий Александра. Пруссия, как одна из крупных политических сил Европы, представлялась ему, с другой стороны, необходимым элементом европейской системы, связь

с нею, влияние на нее — одним из устоев европейской политики России. Мысль, сосредоточенная на роковой неизбежности борьбы против Наполеона, осложнялась сознанием противоречия между необходимым для этой борьбы союзом с Пруссией и противоположностью ее интересов имперским планам Александра в области польского вопроса и вообще западных пределов России. Общий принцип естественных границ и, особенно, выходов на мировые торговые пути, который намечался, как одна из основ будущего переустройства Европы, получал такое применение в обсуждениях между Александром и Чарторыйским, что для России, для ее торговых и стратегических интересов, необходимы устья Немана и Вислы, без которых невыполнимо обеспечение Литве и Польше здоровых условий развития, как и без австрийской Галиции — неразрешима организация Польши и установление твердой западной границы империи, для Пруссии, однако, явно неприемлемое. Из этих рассуждений Чарторыйский делал решительный вывод, что разрешение этих задач внешней политики России возможно только путем войны с Пруссией, которая должна предшествовать борьбе против Наполеона и создать для этой борьбы надлежащую базу. Александр отступил перед такой перспективой и пошел иным путем — организации антифранцузской коалиции, полагая, что победа над Наполеоном даст возможность провести переустройство Европы на мирных конгрессах. Однако,

Пруссия твердо замкнулась в системе выдержанного нейтралитета Северной Германии — со времени своего выхода из первой коалиции по Базельскому миру 1795 года. Тщетно убеждал Александр своего берлинского друга, что „действительная, непреходящая польза“ Пруссии требует ее присоединения к коалиции, что покорность Наполеону, только прикрытая нейтралитетом, ведет, „после многих дорого стоющих уступок и с вечным упреком за содействие предоставлению всемирной монархии тому, кто так мало этого достоин, к полному и неизбежному разрушению его государства“. Фридрих-Вильгельм сделал в 1804 году последнюю попытку удержаться в равновесии между Францией и Россией и пошел только на декларацию о готовности своей оказать вооруженное сопротивление всяким новым нарушениям северно-германского нейтралитета Наполеоном, в союзе с Александром, с которым он согласен „в принципах“. Эта неудача не остановила, однако, настояний Александра на присоединении Австрии к англо-русскому союзу. Преодолеть нерешительность австрийского правительства стоило немалого труда. Кобенцль ясно видел огромные размеры риска, указывая представителям России, что-де „мы находимся у дула пушки и скорее будем уничтожены, чем вы сможете притти к нам на помощь“, тем более, что население габсбургских владений отнюдь не проникнуто необходимым доверием и уважением к своему правительству. С трудом примирялась Австрия с

потерей своих итальянских владений и с упадком своего общегерманского значения, но признала за Наполеоном его императорский титул, который он сам рассматривал, как возрождение императорства, созданного Карлом Великим, что и выразил позднее в титуле „римского короля“ для своего сына. Франц II стал титуловаться императором австрийским, уступив, таким образом, „корсиканцу“ притязания священной Римской империи на общеевропейское главенство.

Александр не признал ни того, ни другого. Но как ни соблазнял он Австрию русской военной поддержкой, в своевременность и достаточность которой в Вене плохо верили, и английскими субсидиями, из-за размера которых шла продолжительная торговля, ему в 1804 году удалось и от Австрии добиться только декларации, и то редактированной весьма осторожно, о готовности действовать вместе с Россией для предотвращения и отражения новых нападений Наполеона на одну из договаривающихся сторон (со стороны России разумелось нападение на русские войска, занимавшие Ионические острова) или опасные для них захваты его в Германии. Не одна опаска перед силой Наполеона и сознание своего бессилия обусловили такую осторожность австрийских правителей. Они с недоверием озирались на Россию, толкавшую их в тяжелую и опасную войну, и на старую соперницу, Пруссию: в декларации были оговорены гарантия неприкосновенности Турции „в том положении ее владений, в каком

оные ныне находятся", и особой статьей — обязательство России обеспечить нейтралитет Пруссии; оговорено и обязательство Александра выторговать у Англии крупную денежную субсидию для австрийцев. Характерно в этой декларации также признание целью коалиции, по мысли Александра, „не выполнение контр-революции, но единственно отвращение общих опасностей Европы", так как „правила обоих государей не позволяют им ни в каком случае стеснять свободную волю французской нации".

Коалиция была и не полна — без Пруссии, и военные силы не были достаточно подготовлены для совместных действий, когда в апреле 1805 года заключен окончательно англо-русский договор, к которому в июле присоединилась и Австрия, поддавшись самонадеянности одной из групп своего высшего командного состава. А Наполеон едва ли преувеличивал, когда заявлял официально в Берлине, что ему ясны все планы его противников во всех их последствиях. Покинув подготовку фантастического проекта дессанта в Англию, он открыл военные действия на суше. Опасения Кобенцля быстро оправдались. Австрийские силы были сокрушены раньше, чем подоспела русская армия. Кроме медлительной мобилизационной техники, в этом запоздании сыграли свою роль и переговоры с Пруссией о пропуске русских войск. Личное посещение Берлина Александром, ознаменованное клятвой взаимной дружбы в Потсдаме, привело к запоздалому заключению договора о

присоединении Пруссии к антифранцузской коалиции, обусловленному, однако, предварительной попыткой прусского посредничества для немедленного восстановления мира. 3 ноября (22 окт.) подписан этот договор, а еще 19 октября ген. Мак капитулировал со всей своей армией, 13 ноября Наполеон вступил в Вену и разрубил узел весьма напряженного положения, когда сколько-нибудь серьезная неудача могла его погубить (с выступлением Пруссии и подходом всех австрийских сил), 2 декабря (20 нояб.) Аустерлицкой победой.

Аустерлиц лег тяжелой тенью в личной жизни Александра. Он сам провел всю дипломатическую подготовку коалиции и войны, распоряжался ее военной подготовкой и сам настоял на решительной битве, вопреки мнению главнокомандовавшего союзной армией Кутузова. Он словно пробовал силы на широком поприще правителя большого государства, памятуя совет Лагарпа, — выслушивать мнения министров и других ответственных исполнителей, но решать самому, без них. Вся компания — и дипломатическая, и военная — кончилась катастрофой. Александр чувствовал, что ответственность возлагают на него, но сам досадливо складывал ее на свой „кабинет“ и на Кутузова, к которому навсегда проникся ревнивой антипатией и недоверием.

Положение Чарторыйского в роли руководителя ведомства иностранных дел стало невозможным. В марте 1806 г. он обратился к императору с пись-

мом, в котором дал любопытную характеристику сложившихся отношений. Он выясняет, как причину полной неудачи попыток внести единство и планомерность в управление делами государства, стремление Александра „брать исключительно на одного себя ответственность не только за каждое принятое решение, но даже за его исполнение, вплоть до самых мельчайших подробностей“, его стремление „все решать единолично, как в делах военных, так и в гражданских“, особенно в острые моменты, „когда дело идет о принятии таких решений, от которых зависит спасение или гибель государства“. Входя во все детали иностранных дел, Александр лично избирал представителей России заграницей или ставил рядом с ними доверенных людей, особо уполномоченных, не считаясь, обычно, с мнением министерства; сам редактировал и изменял инструкции. Выполнение коллективно намеченных планов теряло устойчивость и последовательность, под давлением его личных действий. Тоже и в делах военных. Чарторыйский укорял Александра в замедлении рекрутского набора и приказов о мобилизации, в несвоевременном движении войск на театр действий — из-за его личных колебаний и медлительности. Отъезд Александра в действующую армию состоялся вопреки настояниям окружающих. Ему указывали, насколько его присутствие свяжет высшее командование, подорвет его ответственную самодеятельность, перенесет эту ответственность всецело на него самого. „Госу-

дарь — писал ему Чарторыйский, — не доказавший еще на опыте своего уменья командовать, никогда не должен ставить себя в такое положения, где, в известный критический момент, он может быть вынужден принимать сам лично быстрые и бесповоротные решения". А при армии Александр, не принимая открыто командования, связывал главнокомандующего своими решениями, подрывал его авторитет, выслушивая разноречивые мнения штабных генералов, лично осматривал передовые позиции и движения колонн, чтобы быть на виду у армии, вместо того, чтобы „лишь в крайних случаях пользоваться тем впечатлением, какое производит на войска его личное появление", как ему советовали.

Но Александр не мог примириться с такой организацией управления, которая, как ему казалось, отдаляет его от власти, ни, тем более, от такой постановки военного управления и командования, которое отдаляет его от армии. Держать в своих руках все устои „силы правительства", лично определять все направление и содержание правительственной деятельности и возможно ближе, непосредственнее руководить ее ходом, как в ее целом, так и в существенных деталях, было для Александра не только делом личного честолюбия, но и сознательным выполнением выпавшей на его долю роли правителя-самодержца, к тому же захваченного широкими планами перестройки своей империи и всей Европы на принципиально-новых основаниях.

Александр вернулся в Петербург после Аустерлица сильно подавленным. Де-Местр сообщал о нем, что его удручает мысль о бесполезности императора, который не в силах стать полководцем. Однако, разбираясь в крайне тяжелом и сложном политическом положении, он нашел себе выход из упадка духа — в уничтожающей критике действий исполнителей своих предначертаний и союзников. Мысль сосредотачивается на возможности реванша, который вернет к прежним широким планам, на сохранении и подготовке необходимых для этого условий.

Политические последствия Аустерлица казались решительными. В том же декабре 1805 г. Австрия совсем капитулировала перед Наполеоном по миру, заключенному в Пресбурге; Пруссия заключила с ним в Шенбруне союзный договор, который после нерешительных переговоров получил ратификацию Фридриха-Вильгельма. В первых же переговорах с Россией — о перемирии, затем о мире — прозвучали совсем „тильзитские“ ноты: свобода действий Наполеону на Западе, Александру — на Востоке. Переговоры эти продолжены русским уполномоченным Убри в Париже и привели его к подписанию мирного трактата в июле 1806 г. — с признанием императорского титула Наполеона и всех его европейских распоряжений. Но Александр еще отступает перед таким шагом. Все эти договоры сулят только „мнимое умиротворение“, отдают и Австрию, и Пруссию, и Польшу, которая на Наполеона возложит все на-

дежды, в руки императора французов: он станет подлинным императором Европы, этот „узурпатор". Цель Александра—сохранить почву для возрождения коалиции; в этом духе идут его сношения с Австрией, а Пруссия заменяет свою политику „нейтралитета" своеобразным союзничеством на две стороны, с двумя органами своей внешней политики—официальным для Франции и неофициальным для России, с которой, в противовес Шенбрунскому договору, обменивается „союзными декларациями", обязуясь—с заявлением, что Шенбрунский трактат не нарушает прежних союзных отношений к России—не помогать Наполеону, если бы между ним и Александром завязалась борьба из-за Турции или если бы Александр нашел своевременным подать помощь Австрии при нарушении Францией Пресбургского мира, и принимая обязательство Александра „употреблять постоянно бо́льшую часть своих сил на защиту Европы и все силы Российской империи на поддержание независимости и неприкосновенности прусских владений". Весь смысл этих „деклараций" был для Александра в том, чтобы удержать Пруссию от перехода вполне в ряд врагов коалиции—вассалов Наполеона—и сохранить в ней рассчет на покровительство России. Ход событий завел дальше этого: Александр отказался утвердить договор, заключенный Убри, а Пруссия не удержалась в своем двусмысленном балансировании между двумя империями и не достигла своей цели усилиться в северной

Германии образованием „Северного союза“ немецких княжеств, под своим главенством, и приобретением Ганновера. В рассчете на русскую помощь, Фридрих-Вильгельм поставил Наполеону ультимативные требования, на которые тот, видя перед собою опять возрождение коалиции, а в тылу восстание Испании, ответил уничтожением прусской армии в двойном бою 14-го октября: под Иеной и Ауерштедтом; 25 октября маршал Даву занял Берлин. Пруссия казалась уничтоженной. Во всяком случае, ее судьба — в руках Наполеона.

Перед ним большая задача: утвердить свое господство над всей континентальной Европой, спаять ее в одну политическую систему под своим главенством, перестроить ее в крепкую федерацию под гегемонией Франции и противопоставить ее главному противнику — Англии. Великая империя не может существовать только на суше. Наполеон давно борется за французское господство на Средиземном море: Италия, Испания должны войти в имперскую систему Европы, Турция—под его опеку. В Берлине, в этот момент торжества, оформилась идея „континентальной блокады“ — этой экономической спайки всего континента под французским господством, с полным бойкотом английской торговли, пока „владычица морей“ не смирится перед императором Запада и не подчинится его директивам. Но в эту систему необходимо ввести и Россию: силой или миром. Игнорировать ее нельзя: слишком это и по-

литически, и экономически существенная часть Европейского мира. Разграничиться с ней трудно: ее ближне-восточные притязания врезываются в средиземно-морскую политику Наполеона, польские — в средне-европейскую, балтийские — в северную, во все вопросы, связанные с Англией и Пруссией. В ней источник новых „коалиционных“ опасностей, новой борьбы за добытое с таким напряжением сил европейское господство, еще не закрепленное, еще зыбкое и шаткое в основах. Еще много трудностей в организации имперского господства на Западе; необходимо ввести Россию в континентальную систему, оторвать ее от Англии, парализовать ее поддержку всем противоборствующим Наполеону силам.

Александр видит свою империю в большой опасности. Наполеон грозит выбросить его из Европы. Дело не только в мероприятиях, направленных на то, чтобы убить возможность для Австрии и Пруссии новой борьбы, нового союза с Россией. Наполеон подымает, возрождает Польшу, организует ее силы, восстановляет ее былое значение — передового поста западной Европы против России. Гений военного империализма вновь и вновь принимает обличие носителя революционных начал — освобождения народов, грозит отнять у Александра его мечту о захвате этого мощного орудия в пользу „законных“ правительств. Увлечены этим „порождением революции“ поляки, но не увлекутся ли и русские? Уже раньше, вступая в первую борьбу с Наполео-

ном, Александр, только что упразднивший „тайную экспедицию“ с резким осуждением в манифесте 2 апреля 1801 г. административного произвола в деле полицейского сыска и охраны порядка, учреждает вновь, при отъезде своем в армию, особый комитет по „сохранению всеобщего спокойствия и тишины“, перестроенный в январе 1807 г. с новыми широкими полномочиями в „комитет общей безопасности“. Цензурные распоряжения воспрещают касаться польского и крестьянского вопросов: Александр встревожен народными толками о том, что-де Бонапарт писал ему, чтобы он освободил всех крестьян, а то война никак не прекратится, что француз крестьян не тронет, а только помещиков истребит, чтобы народ вызволить от утеснения. Мало того. Наполеон снова, как в дни своей египетской экспедиции, развертывает обширные планы восточной политики. Завязывает сношения с Персией, против которой у Александра шли с 1804 года военные действия, связанные с недавним присоединением Грузии и укреплением русского владычества в Закавказьи. Наполеон увлечен мыслью доставить Персии инструкторов и артиллерию, вернуть ей Грузию, порвать ее связи с Англией, поднять против англичан авганцев, подготовить путь для французского вторжения в Индию. Ближе и реальнее его турецкая политика. Он поднимает Турцию против России. Под давлением французской дипломатии, султан сменяет господарей Молдавии и Валахии, связанных с Россией,

другими, ей враждебными; Александр — в ноябре 1806 г. отвечает оккупацией дунайских княжеств и вступает в шестилетнюю войну с Турцией.

В итоге перед Александром на выбор — либо капитуляция перед Наполеоном, либо борьба. Он пытается возобновить борьбу. Призывает Австрию к новому усилию, чтобы „остановить полное крушение мира, который находится под страшной опасностью разрушения и порабощения", возвещает патетичным манифестом возобновление войны с Наполеоном, призывает сверх регулярной армии повсеместное ополчение, объявляет сбор пожертвований деньгами и вещами, в виду грозящего иноземного вторжения. Синоду повелено возбудить население религиозным фанатизмом против „неистового врага мира и благословенной тишины", порожденного „богопротивной революцией", из-за которой „за ужасами безначалия последовали ужасы угнетения" сперва для Франции, потом и для всех стран, поддавшихся этой заразе, сущего антихриста, который в Египте „проповедывал алкоран магометов", а в Париже собрал еврейский синедрион с мыслью устремить евреев против христиан и разыграть роль „лжемессии", а теперь „угрожает нашей свободе".

Александр явно мечтал создать в 1807 г. „отечественную" войну, войну национальной самообороны для России, освободительную для западной Европы. Покушение это было выполнено с явно негодными средствами и привело к новому срыву.

Однако, безнадежность положения для возрождения коалиции выяснилось не сразу. Удачный авангардный бой под Пултуском (26 декабря), сильно преувеличенный в донесениях Бенигсена, кровавая и упорная битва под Эйлау (8 февраля 1807), обессилившая обе стороны,—колебали представление о непобедимости Наполеона. Положение его—трудно, напряженно, кажется не только врагам, но и ему самому и его окружающим постоянно висящим на волоске. Много потеряно пленными, много дезертиров, особенно из не французских воинских частей; колеблется почва его власти во Франции, где идет глухая, подавляемая, но упорная партийная борьба, нарастающая ненадежность ряда маршалов и политических деятелей империи—все соблазняло на борьбу за сокрушение нависшего над Европой владычества. В переговорах с Пруссией о дальнейших действиях заново прорабатывается идея освобождения Европы и ее переустройства для обеспечения давно желанного мира—под опекой четырех держав, России, Пруссии, Австрии и Англии, для укрощения Франции рядом гарантий против новых ее выступлений. Конвенция, заключенная Россией и Пруссией в апреле 1807 г. в Бартенштейне, обновляет план коалиции с целью „предоставить человечеству блага всеобщего и прочного мира, утвержденного на основе порядка владения, обеспеченного, наконец, за каждою державою и поставленного под гарантию всех". Конвенция и намечает

основания переустройства Европы, как бы подготовляя решение будущего конгресса. Однако, ни Англия, ни Австрия, ни Швеция не присоединились к этой конвенции. Англия, изверившись в результатах континентальной борьбы и недовольная прусскими и русскими планами собственного усиления (Пруссии в Северной Германии, России — в Дунайских княжествах), отказала Александру и в дальнейших субсидиях, и в крупном займе. За Бартенштейнской конвенцией последовал (14 июня) Фридланд, новая победа Наполеона, ознаменовавшая годовщину его первого большого дня — у Маренго, победа, которая на время покончила с Пруссией и сломила сопротивление Александра. Наполеону еще раз удалось разбить объединявшиеся против него силы, их временно разрознить, в ожидании, пока оправятся смятые элементы коалиции. На этот раз настала длительная „интермедия", мнимый перерыв все той же борьбы, ушедшей в подполье глухой интриги, дипломатической игры и подготовки новых сил. Можно повторить слова французского историка: „Сколько понадобится России месяцев или недель, чтобы оправиться, восстановить связь с Австрией, поднять из упадка Пруссию, привлечь заново Англию? Весь вопрос был в этом, и не было другого; все, что предстояло „другое", было только фантасмагорией аван-сцены и спектаклем интермедии" (Сорель). Понадобились не недели, а года, но они протекали в напряженном ожидании, что вот-вот интермедия кончится и возобновится подлинная историческая драма.

5.

Борьба с Наполеоном: от Тильзита до Парижа.

Имя этой интермедии — „Тильзитская дружба". Крушение коалиции вело с неизбежностью либо к решительной борьбе между Россией и Францией, либо к их соглашению, из которого обе стороны могли извлечь значительные выгоды: Наполеон — возможность беспрепятственно закончить организацию своего европейского господства, Александр — завершение прибалтийских и черноморских планов русского империализма. Мысль о разделе власти между двумя императорами, которую Наполеон выдвигал в сношениях с Павлом и к которой стал возвращаться после Аустерлица, как к выходу, хотя бы временному, из чрезмерного напряжения своих сил, стала и с русской стороны выступать, как нечто, по обстоятельствам, неизбежное. „Будьте уверены — писал Строгонов Чарторыйскому в январе 1806 года, — что есть только один способ уладить все это, но этот способ был бы у нас, вероятно, признан нечистым и безнравственным, хотя он весьма простителен в той доброй компании, какая управляет Европой: это было бы — круто перейти к союзу с Наполеоном и вместе с ним съесть пироги". Цинизм, весьма мало свойственный П. А. Строгонову, тем более характерен; он вызван разочарованием в союзных силах, которое доводит его до воскли-

цаний о „гниении континента“. Для Александра — при невозможности борьбы — такое соглашение оставалось единственным способом обеспечить от решительных покушений Наполеона свои цели и в польском вопросе, и в турецких делах, а, вместе с тем, сберечь возможности новой будущей коалиции. Интермедия союза и дружбы была разыграна превосходно. Играли первоклассные актеры. Про Александра — еще во время его детства — бабушка сообщала своим иностранным корреспондентам о его редких мимических способностях, уменьи разыгрывать разные роли. Придворная жизнь вышколила это дарование, выработала навыки самообладания и уменья принимать все обличия, выдерживать весь тон, подходящий к обстоятельствам, выражать настроения и чувства рассчитанно и применительно к желательному впечатлению на окружающих, на того или иного собеседника. Лагарп, хотя и „республиканец“, сумел внушить питомцу сознание важного для него уменья „разыгрывать императора“ при всяком публичном появлении и в общении с государственными деятелями. Александр не только усвоил эту технику императорства; он умел и входить в роль, проникаться ею, вызывать в себе соответственные любому положению переживания, никогда не отдаваясь им всецело. Он их действительно переживал, умея навинтить себя на них до иллюзии искренности, быть может, не только перед другими, но и перед самим собой. Но отдаться цельно какому-

либо увлечению, идеей ли, или человеком, он не мог, не умел, да и не хотел: слишком он для этого эгоцентричен, да и слишком — император, всегда помнящей рассчеты личной и государственной политики. Уверенная в своей мощи, более порывистая и яркая натура Наполеона чаще давала волю своим проявлениям. Казалось, что он часто забывается, выходит из себя, высказывается с потрясающей безудержной откровенностью, резко вскрывает свои мысли и чувства, расчеты и опасения. Но он, обычно, владел этими вспышками, разыгрывал их, как приемы воздействия, в речах, в дипломатических нотах, приказах по армии, манифестах и даже официальных статьях парижских газет и в личных письмах. Большой любитель классической французской драмы, поклонник великого артиста Тальма, он говорил ему, что сам играет „трагедию на троне“.

Глубокий реализм в понимании людей и политических положений сочетался в нем с богатой и безудержной игрой воображения, строившей колоссальные планы и сложнейшие комбинации, утопический размах которых насыщал эмоциональной мощью его практически рассчитанные шаги превосходного организатора и властного вождя. Оглядываясь на протекшую жизнь в одиночестве на острове св. Елены, он признавал, что никогда не был, по настоящему, самим собой. „Стоял я — так говорил он — у руля и держал его сильной рукой, однако, часто удары нежданной волны были еще сильнее“; а на вопрос,

к чему он, собственно, стремился, отвечал, что сам того не знает, и пояснял: „потому, что, ведь, в самом деле, я не был хозяином своих поступков, так как не был настолько безумен, чтобы стремиться скрутить события применительно к построению моей системы, а, напротив, применял свою систему к непредвиденной конъюнктуре обстоятельств“. Смелые порывы воображения и трезвые рассчеты политики вели его, в сложном взаимодействии, к попыткам осмыслить каждую „конъюнктуру обстоятельств“ и овладеть ею, к ней применяясь. Она определяла очередные задачи, очередную роль, какую надо взять и разыграть.

Конъюнктура обстоятельств 1807 года привела к Тильзитскому миру. В его основе — отказ обоих контрагентов от всеобъемлющих планов, Александра — на Западе, Наполеона — на Востоке. По форме — это союз вечной дружбы, решительный раздел сфер влияния и действия, договор, установленный в театральной обстановке личного свидания двух императоров в павильонах на плоту посреди Немана, против Тильзита, 25 и 26 июня.

Тильзит казался многим, а многим и до сих пор кажется, полным переворотом в направлениях политики Александра. Более прав Альбер Сорель, когда называет Александра „одним из наиболее последовательных людей, какие когда-либо были, несмотря на все зигзаги его политики, прорывы его фантазии, неожиданности его излияний“. Менялись, по обстоятельствам,

пути и приемы, не общие намеченные цели. Коалиция рухнула; нельзя ли продвинуться в том же направлении через соглашение с Наполеоном? И Александр намечает признание за Наполеоном Западной империи во всем ее объеме, однако, пытается защитить и Люксембург, и королей Неаполя и Сардинии, особенно Пруссию, готовый взять ее земли до Вислы, но с вознаграждением ее хоть Чехией; пытается уклониться от континентальной блокады, которая роззорила бы Россию, и заменить ее возрождением вооруженного нейтралитета, чтобы ослабить морское господство Англии и усилить русское влияние на Севере; он готов на раздел мира между двумя империями, но с гарантией своего преобладания на Ближнем Востоке. Все это не пройдет в переговорах с Наполеоном, а потому новый союз только прикроет блестящим покровом прежнее соперничество и подготовку сил к новой решительной борьбе. Пришлось принять континентальную блокаду, что создало для Александра крайне напряженное положение внутри страны, подрыв внешней торговли, расстройство финансов, раздраженную оппозицию крупных землевладельческих кругов, питаемую убытками на замершем вывозе русского сырья и ростом цен на привозные товары. Неприемлемо было для Наполеона стремление Александра сохранить роль протектора подавляемых им западно-европейских государств. Но всего острее стали между ними вопросы — польский и турецкий.

„Если Франция и Россия в союзе, то весь мир должен им покориться“ — говорил Наполеон в Тильзите. Но Александр должен отказаться от защиты интересов Англии, Австрии, Пруссии, увидеть в них „врагов России“ и не препятствовать Наполеону строить на Западе „великую империю“. Ее господство Наполеон не думает распространять к востоку, за Эльбу. Как и в прежних переговорах с Россией, он указывал на то, что гарантией мирных и союзных отношений между двумя империями должно служить отсутствие у них общей границы. В начале он русскую западную границу намечает по Висле. Но он связывал такую границу с полным устранением Пруссии, как значительной державы. Настояния Александра на сохранении Пруссии и его проекты компенсации прусских территориальных потерь другими владениями — раздражали Наполеона и будили в нем справедливые подозрения о задних мыслях нового „друга“. Он шел даже на предложение Александру признать его или его брата Константина польским королем за согласие на то, чтобы Силезия стала самостоятельным владением его брата Жерома. Лишь бы порвать связи России с Пруссией, лишь бы так принизить Пруссию, чтобы она перестала быть силою в политическом равновесии Европы. Настояния Александра довели его до отказа от Силезского проекта, и он продиктовал в 4-ю статью Тильзитского договора, что соглашается возвратить прусскому королю перечисленные в этой статье земли —

„из уважения к русскому императору и в изъявление искреннего своего желания соединить обе нации узами доверенности и непоколебимой дружбы". Но эта уступка в корень изменила постановку польского вопроса. Из остатков польских владений Пруссии создается Варшавское герцогство, территориально и политически искусственное и бессильное, без выхода к морю, не охватывающее, с другой стороны, даже этнографической Польши, „голова без туловища", по выражению польского историка. Александр не захотел явиться в Польше ставленником Наполеона, да еще за цену полного разрыва с Пруссией, надеясь в будущем создать иные, более широкие условия для выполнения своих польских планов, о которых не переставал говорить полякам, осторожно и уклончиво, хоть и многозначительно. Его любезное предложение признать Жерома Бонапарта польским королем — звучало почти иронией. Наполеон отклонил эту мысль, видя в ее осуществлении источник немедленного возобновления напряженных отношений на восточных своих окраинах, чего хотел хоть на время избежать: тут нужен, пояснял он, кто-нибудь, кто не смущал бы ни Россию, ни Австрию. Он отдал Варшавское герцогство саксонскому королю, без объединения двух территорий, так как Силезия осталась за Пруссией: пришлось оговорить в трактате, что король саксонский будет пользоваться свободным путем для сообщения с Варшавским герцогством через прусские владения. Можно

сказать, что в этой области — в судьбе территорий по Висле — все осталось на весу, в неустойчивом и условном равновесии, чреватом дальнейшими столкновениями и доступном для новых комбинаций, которыми непрерывно занята мысль Александра. Его ближайжая забота — чтобы Польша не стала вполне орудием Наполеона, его форпостом на Востоке, в корню разлагающим возможности новой коалиции, и не ушла бы безнадежно из-под его собственного влияния в духе проектов, какие он обсуждал с Чарторыйским. На деле Польша уходила из его рук, Наполеон вырастал в национального польского героя, становился центром польских патриотических надежд. Зная, насколько чужд Наполеон какому-либо увлечению „польской идеей", с которой умело заигрывает по мере надобности, но к которой относится с таким же пренебрежением, как ко всякому национальному движению, Александр настаивает на гарантиях, что он ее не использует во всю ширь против России, что он никогда не возьмет на себя восстановления Польши, и получает ряд заверений в этом, не закрепленных, однако, никаким официальным актом: Наполеон держит эту угрозу на весу, не решаясь (даже в борьбе 1811—12 года) ее использовать. В опасный для себя момент 1809 года, когда так ясно выступила внутренняя фальшь союза, только прикрывшего напряжение борьбы двух империй, Наполеон приносит его сохранению в жертву возможность восстановления

Польши, дает ей лишь Краков и Западную Галицию, но отдает Александру ее восточную полосу, чтобы вбить глубже клин русско-польской вражды. Соперничество из-за Польши остается неразрешенным.

Не меньшей опасностью для „тильзитской дружбы" стали турецкие дела. Ближний Восток, отношения к которому русская дипломатия стремилась, по возможности, держать вне общей схемы европейской политики, как свое, особое, восточное дело, оказался теснее прежнего втянутым в политические планы Наполеона. Захват Далматии в состав его имперских владений, утверждение его власти в Италии, преследуемая им задача французского господства в Средиземном море — все вело к возрождению франко-русского соперничества на Балканском полуострове, в Константинополе. Давнее опасение, которым русская дипломатия объясняла связь интересов России с делом антифранцузских коалиций, что Франция, если не сдержать ее, „дойдет когда-нибудь и до нас, через Швецию, Польшу и Турцию, и заставит нас сражаться не из-за большего или меньшего влияния в Европе, а за наш собственный очаг", становилось особо острым и как нельзя более реальным. Обеспечение своих ближне-восточных интересов Александр ставил накануне Тильзита прямой ценой своего союза с Наполеоном. Дунайские княжества заняты русскими войсками, в них организуется русское управлениие, Молдавия и Валахия

входит в планы построения всей обширной империи, к разработке которых Александр возвращается в годы Тильзитского мира. Попытка Наполеона оградить Турцию от русского напора французским посредничеством с внесением в Тильзитский договор обязательства удалить русские войска из Молдавии и Валахии, затем попытка навязать России перемирие, во всем выгодное для турок, удались на деле так же мало, как настояния Александра на освобождении Пруссии от французского засилья. Перемирие, продиктованное французами, не было утверждено, оккупация Дунайских княжеств осталась в силе. Александр настаивал на признании их за Россией, на содействии союзника в принуждении турок к этой уступке. Наполеон не решается оплатить союзника выдачей ему Турции головой. Если Александр добьется своих целей, ему будет прямой рассчет искать соглашения с Англией за признание ею своих приобретений, освободиться от французской опеки, отбросить Францию на крайний Запад. Наполеон и этот вопрос держит на весу, как средство давления на Россию, приманивает Александра тайным соглашением о разделе Турции, не соглашаясь только обещать ему Константинополь: „Константинополь, говорит он, это — господство над миром“. В крайности, он готов признать за Россией Дунайские княжества, но пусть Александр согласится на то, что он отнимет у Пруссии Силезию: обессиленная Пруссия выйдет из строя, русско-прусский

союз станет невозможен; та же игра, что в польском вопросе. И тот же ответ Александра: он не согласен вовсе пожертвовать Пруссией, даже за цену Дунайских княжеств; лучше он от них откажется. 1809 год и тут привел Наполеона к уступкам. Он согласился устранить свое посредничество из русско-турецких отношений, признал Дунай границей Русской империи, если Россия сама доведет до этого Турцию. Он дорого платит за сохранение, во что бы то ни стало, союза, который неизбежно разлагался, и накоплял в своих недрах материал для грядущей решительной борьбы.

В том же 1809 году оформлено присоединение к России Финляндии. Этот подарок союзнику не смущал Наполеона. „Финляндия вам нужна, говорил он русским, она слишком близка к Петербургу". Ею, в его сознании, оплачивалось присоединение России к континентальной блокаде, предлогу русско-шведской войны; роль России — быть орудием его анти-английской политики на Севере. Александр использовал это присоединение для приступа к преобразованию империи, которое должно было получить, в его утопичных проектах, широкий размах — и общеимперской, и международной перестройки всех отношений на идейно-новых основах; слабый набросок еще неясной, чего-то ищущей мысли.

1809 год мог казаться моментом завершения усилий Наполеона. На Эрфуртском свидании закреплен союз с Россией, завершено тильзитское дело. Затем слом-

лено сопротивление Австрии, ее попытка взяться за оружие кончилась Ваграмским поражением. 1810 год — „апогей Великой империи“. Французское господство над Западной Европой завершено. Она поделена на ряд стран, прямо или косвенно, но покорных Наполеону, его военной и политической диктатуре. Могло казаться, что заложено основание для объединения этого мира в прочно спаянное целое, для придания ему стройной окончательной имперской организации. Но все это только мираж. Русский союз — одна видимость, обманывающая только того, кто хочет быть обманутым, и лишь поскольку он этого хочет. Внутри сила имперской власти подкопана изменой, готовностью продать императора ради личных выгод и ради спасения Франции от нарастающей и внешней и внутренней катастрофы. Власть над Европой держится только на голом насилии, нарастает враждебное противодействие, с жадной тревогой следящее за ходом испанской борьбы против французского господства. А сама наполеоновская империя на распутьи. Сохранит ли она свой исторический смысл — наследницы революции, закрепляя ее социальные и граждански-правовые достижения, или пойдет по пути внутренней подготовки реакционной реставрации в усиленном компромиссе с традициями монархизма, аристократизма и клерикализма? Этот вопрос — об исходе непрерывной борьбы двух тенденций во внутренней жизни империи — придал особое значение делу о раз-

воде Наполеона с Жозефиной Богарнэ и новом его браке. Цель подобного шага — династическое обеспечение империи — осложнена у Наполеона особым настроением — мечтой о династической легализации своей власти родством с одной из старых монархических фамилий. Он остро ощущал, что его власти недостает того монархического ореола, каким — ему казалось — сильны старые династии; он чувствовал себя при сношениях с Габсбургом или Романовым в чуждой, неприемлющей его среде. Он окружает свое императорство пышной торжественностью официальных церемоний, свой престол новой знатью, раздавая титулы герцогов, графов, баронов своим слугам вместе с крупными земельными пожалованиями и большими доходами. Вся инсценировка монархического и аристократического быта кажется ему необходимой оболочкой императорской власти, если ей суждено стать династически прочной; нужно ей и благословение покорной церкви — корона Карла Великого, возложенная на его главу руками папы. Но он хотел бы не подражательного монархизма — и увлекается примирением с настоящей, старой аристократией, которой наполняет свой двор, свою администрацию. Корни реставрации прорастают в почве его империи, грозят своими побегами заглушить наследие революции.

На почве опасений, что брачный союз с одной из старых династий усилит реакционные элементы наполеоновского империализма, выросла своеобраз-

ная популярность проекта о женитьбе Наполеона на одной из сестер Александра. Сторонникам этого брака казалось, что русская династия, не связанная с миром „старого порядка“ в Европе, окажется наиболее „свободной от предразсудков“, не внесет опасных для новых условий французской жизни реакционных традиций. Этот брак был бы для Наполеона, с другой стороны, еще одной скрепой расшатанного, но еще нужного союза, который он хотел бы сохранить устоем своей системы в мировой политике. За брак с Анной Павловной Наполеон был готов заплатить конвенцией, которая „положит конец опасным заблуждениям, какие может еще порождать в сердцах бывших поляков обманчивая надежда на восстановление польского королевства“, формальным заявлением, что „польское королевство никогда не будет восстановлено“, а Варшавское герцогство не получит „никакого территориального расширения на счет тех частей, которые составляли бывшее польское королевство“, и даже, что самые слова Польша и поляки должны навсегда исчезнуть из какого-либо официального употребления. Но Александр отказал, прикрывшись волей императрицы-матери, и конвенция не получила утверждения Наполеона, хотя и была уже подписана его послом Коленкуром. Наполеон немедля закончил другое подготовленное сватовство и вступил в брак с австрийской принцессой Марией-Луизой. Тильзитская дружба разрушена, а империя, приняв на свой

престол представительницу наиболее старых монархических традиций, пошла по пути, который можно без натяжки назвать „внутренней реставрацией“. Наполеоновская империя все больше теряет свой ореол носительницы великих традиций революции в противоположность „старым“ монархиям. В ряду его сотрудников зреет мысль о возможности „империи без императора“, о сохранении основных „достижений революции“ в компромиссе с иной властью и в мире с Европой. Мечты Александра о том, чтобы вырвать из рук Наполеона „наиболее могущественнное оружие, каким до сих пор пользовались французы“, — знамя освобождения народов, получают новую и обильную пищу. Развитие событий ведет неминуемо к новой всеевропейской борьбе.

„Вероятность новой войны между Россией и Францией возникла почти вместе с тильзитским миром: самый мир заключал в себе почти все элементы войны“. Так судил Сперанский по поводу назревшего в 1811 г. разрыва: „Тильзитский мир для Франции всегда был мир вооруженный“. Он не развязал Наполеону рук: несмотря на нужды испанской войны, пришлось сохранить „северную воинскую систему“; сохранить значительные силы в Пруссии и Германии, соорудить Варшавское герцогство. Наполеон понимал, что мир — только перемирие в личной политике двух императоров, не устранившее, даже не ослабившее противостояния двух империй: „послы его, начиная с Савари, всегда здесь твер-

дили, что мир сделан с императором, не с Россией". Тильзитский мир был крайне непопулярен. Все выгоды этого мира не были столь важны для России, „чтобы вознаградить потерю коммерческих ее сношений". Континентальная блокада — жертва русскими интересами чуждой им политике Наполеона — вызывала глубокое раздражение. Осуждалась в дворянских кругах вся политика Александра. Французские послы сообщали, что в Петербурге развязно и смело толкуют о возможности, даже неизбежности нового дворцового переворота, все чаще вспоминают о примере 11 марта 1801 года; если — пишет Коленкур, — нечего опасаться за жизнь наполеонова союзника, то только потому, что его охраняет страх перед воцарением Константина, в котором видят нового Павла.

А этот ненавистный союз в корню расшатан с 1809 года. Австрийский брак Наполеона окончательно подрывает его устои. России грозит опасность полной обессиливающей изоляции перед могущественным завоевателем. Мысль о близком, скором возобновлении открытой борьбы, пока Наполеон еще не вполне раздавил противоборствующие силы на Западе, не до конца претворил их в покорные орудия своей политики, все крепнет. С весны 1810 года Александр принимает меры к усилению боеспособности своего войска: он ожидал разрыва к весне 1811 г. Обсуждают в Петербурге план военной операции: она рисуется, на первых порах, наступатель-

ной, активной с русской стороны, на линиях Вислы и Одера. Александр начинает высвобождаться из тильзитских пут, приводит Наполеона в негодование явным нарушением блокады, объявлением нового таможенного тарифа на 1811 год наносит серьезный удар французскому ввозу; а когда Наполеон проявил свой гнев конфискацией княжества Ольденбургского под предлогом обеспечения блокады, резкий протест Александра вскрыл нараставший разрыв. Идет со стороны Александра и политическая подготовка грядущей борьбы. Он возобновляет с Чарторыйским переговоры о восстановлении Польши, намечая ее восточную границу по Зап. Двине, Березине и Днепру; открывает совещание с литовскими магнатами о великом княжестве Литовском. Если удастся увлечь на свою сторону Польшу, он встретит Наполеона на Одере. Из Берлина шли в конце 1810 и начале 1811 г. тревожные сообщения, сильно даже преувеличиваемые, о приготовлениях Наполеона к новой войне с Россией. При удаче польских планов рассчет на Пруссию казался несомненным. Меньше было надежды на Австрию, враждебную русскому утверждению на Дунае, связанную с Наполеоном.

Решительный отказ Иосифа Понятовского, главы польских боевых сил, войти в соглашение с Чарторыйским — сорвал все эти планы. Понятовский ожидал нападения России на Варшавское герцогство весной 1811 г., предупредил Наполеона об опасности, не вскрывая перед ним конфиденций Чарто-

рыйского. „Мы стоим друг перед другом — так характеризовал Понятовский создавшееся положение — со взведенными курками: в конце концов чье-либо ружье должно само выстрелить“. Россия могла дольше выдерживать такое состояние напряженного ожидания. Для Наполеона оно было невыносимо при неустойчивом равновесии всей его европейской системы. Александр вынужден отказаться от первоначальных планов; он займет оборонительную позицию. Наполеон с огромным напряжением энергии создает полумиллионную разноязычную армию для активного удара: надо разрубить чрезмерно и безысходно напряженный узел европейских отношений, — иного выхода у него нет.

Летом 1812 г. началась великая, последняя борьба. Для Александра 1812 год был связан с весьма ему тягостным личным испытанием. Он всю борьбу с Наполеоном воспринимал, как свое личное дело, не русское только, а общеевропейское. Тем труднее ему было примириться с роковой необходимостью снова пережить сознание „бесполезности“ императора, который не годится в полководцы. Это отдаляло его от армии, главной опоры „силы правительства“, противопоставляло ее ему, как нечто самодовлеющее, ставило боевое командование в обидное для его державного самолюбия положение почти независимой силы. А он попытался снова взять на себя руководство военными действиями. Выехал к армии в Вильну, поставил главнокомандующего

Барклая в такие условия, что тот считал себя лишь исполнителем его повелений, утвердил и отстаивал план начала военных действий, который сочинен был его „духовником по военной части“, пруссаком Фулем. Вопреки мнениям всего высшего командования, этот план лег в основу открывшейся кампании и поставил русские войска в крайне невыгодные условия при первом наступлении Наполеона. К отчаянию окружающих, Александр готов был в приказе по армии заявить войскам, что всегда будет с ними и никогда от них не отлучится. Приказ удалось остановить. Адм. Шишков составил письмо к государю о необходимости его отъезда из армии и получил подписи Аракчеева и Балашева. Аргументы были неотразимы, шли от наиболее доверенных и преданных людей. Александр на другой день уехал в Москву, затем в Петербург. Нелегко было ему признать, что нет у него „качеств, необходимых для того, чтобы исправлять, как бы он желал, должность, которую занимает“, в такое время, когда „народу нужен вождь, способный вести его к победе“. Роль популярного вождя пришлось уступить другому. Мало того. Мнение армии, мнение общества требовало замены Барклая Кутузовым, — и Александру пришлось пойти на это назначение, лично ему неприятное, под такими, притом, давлениями, которые решительно противоречили основным его представлениям о полноте авторитета, необходимого носителю власти в отношении к населению, а тем более —

к войску. Кутузову Александр не мог простить Аустерлица, осуждая его тогдашнюю уступчивость „царедворца“, наделавшую столько бед. Он признается (в письмах к сестре), что твердо решил было вернуться к армии, но отказался от этой мысли, когда пришлось согласиться на назначение Кутузова, того из генералов, одинаково мало, по его мнению, пригодных для роли главнокомандующего, за которого высказалось общее мнение. Военная среда выступила с резкой критикой командования — сам Кутузов, с ним Ермолов и другие выступали с заявлениями, которые были бы признаны „преступными“ в другое время, а теперь пришлось с ними считаться. Это было ему тем тяжелее, что он знал, насколько глубже шел разлад между ним и этой средой боевого командования. Еще в дни Аустерлица ему пришлось выслушать суждение, что он только губит армию своими „парадами“; в Вильне, при начале войны, слышались протесты, даже насмешки, горькие и негодующие, против размена обучения войск на мелочи, для солдат весьма тягостные и мучительные, для дела бесполезные, против той гатчинской муштровки, которую они с братом Константином так усердно насаждали. За этим внешним разногласием крылась коренная противоположность двух отношений к армии — национальной боевой силе или дисциплинарно выкованной опоре правительственного абсолютизма. Во время войны, которая выросла в национальное дви-

жение, стала войной „отечественной“, когда заговорили, что „вся Россия в поход пошла“, а боевые вожди, при первом возобновлении плац-парадной муштровки над армией, еще не передохнувшей от боевых трудов, заговорили, подобно Ермолову, о том, что войска служат не государю, а отечеству, и не на то созданы, чтобы забавлять его парадным маршем, - Александр переживал отчуждение от армии, как оскорбление своего и военного и державного самолюбия. Не мудрено, что он позднее „не любит вспоминать отечественную войну“, как свидетельствуют близкие ему люди. Кровавая драма войны, московского пожара, отступления великой армии, разыгралась на глазах Александра, но без его участия. Он ее пережил тягостно, негодуя на „позорную“ сдачу Москвы, на отсутствие победы. Политическая задача — отказ от переговоров, от примирения, пока враг не очистит русской территории, заявленная еще в Вильне, — сохранена в целости, с большой выдержкой. Со своей общей концепцией европейских отношений Александр, повидимому, не поколеблен в уверенности, что грозная буря пронесется и развеется, очистив возможные пути для его активной политики. Его отношение к „отечественной“ войне, повидимому, довольно сложно. Приняв мысль о войне на своей территории, он видит в этом „единственное средство сделать ее народною и сплотить общество вокруг правительства для общей защиты, по его собственному убеждению, по его собственной воле“.

Но сознает опасность необходимого подъема общественной, массовой самодеятельности для полноты самодержавной власти. Он испытал резкую атмосферу общественного недовольства правительством, которое винили за переживаемые бедствия, глухое волнение встревоженной и раздраженной массы, резкую критику своей политики, давление общественного недоверия. Английский генерал Вильсон приезжает к нему „от имени всей армии“, во главе которой он нехотя поставил Кутузова, с требованием, чтобы не начинались никакие переговоры с французами, чтобы не вызывающий достаточного общественного доверия министр иностранных дел граф Н. П. Румянцев был заменен другим лицом. Александр называет его „послом мятежников“, который ставит его, русского самодержца, в тяжелое положение тем, что приходится все это выслушивать; желание армии не расходится, по существу, с его видами, но он не может делать уступок в выборе „своих собственных министров“: тут сговорчивость повлекла бы за собой дальнейшие требования, еще более „неуместные и неприличные“.

В его представлении „отечественная“ война должна бы быть чем-то совсем иным, именно „сплотить общество вокруг правительства“, усилить его и вознести. После Тарутина он уверен в победе и снова сожалеет, что он не при армии: будь он во главе, вся слава отнеслась бы к нему, он занял бы место в истории, но дворянство поддерживает Кутузова,

общество в нем олицетворяет „народную славу этой компании". С этим пришлось примириться, хотя сам он считает, что Кутузов „ничего не исполнил из того, что следовало сделать, не предпринял против неприятеля ничего такого, к чему бы он не был буквально вынужден обстоятельствами". Награждая Кутузова, Александр „только уступает самой крайней необходимости".

Так, в личной жизни Александра война 1812 года осталась лишь тягостным эпизодом, о котором он не любил вспоминать. Эпизод кончился. Страна очищена от вражеских сил. Александр свободен от „крайней необходимости"; ему возвращена свобода решений и действий. Он возвращается на прежние пути, с бо́льшими возможностями, с бо́льшей определенностью. Высшему командованию своей армии он заявляет: „Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу". Основной вопрос дальнейшей политики ставится так: „Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать". Эти формулы выношены годами, от них нет отступления. Александр не подчинится впредь национальному движению, поднятому войной. И политика, и армия останутся в его руках. Вожди русского национализма против его планов. Их выразитель — тот же Кутузов, противник войны с Наполеоном до конца, с ним и Аракчеев, и Константин, и Румянцев и многие, многие другие. По мнению Кутузова, падение Наполеона приведет только к мировому господству Англии, которое будет и

для России и для всего континента еще более невыносимым; остается заключить выгодный мир, за который Наполеон, конечно, заплатит какой угодно ценой. Но Александр пошел своим путем, глубже вникая в строй европейских отношений: „если хотеть — говорил он — мира прочного и надежного, то надо подписать его в Париже“.

Теперь он выступит; роль Кутузова кончена. „Отныне — говорит он — я не расстанусь с моей армией и не подвергну ее более опасностям подобного предводительства“. Он недоволен армией, растерявшей в походе выправку и дисциплину, приводит ее в прежний порядок муштрой, смотрами и парадами — от Вильны до Парижа, в антрактах боевых действий. Он недоволен ее настроением, ее классовым дворянским духом, который пытается подчинить его политические планы своему националистическому патриотизму, неразлучному с землевладельческими притязаниями. Предположения, выдвинутые Кутузовым, о награждении русских генералов и офицеров за отличия в войне 1812 года землями литовских и белорусских помещиков, ставших в ряды польских легионов Наполеона, парализованы общей амнистией полякам западного края, принявшим сторону неприятеля. Для великой борьбы и будущего переустройства Европы Александр ищет более широких оснований, чем русское господство. Ему надо увлечь на свою сторону местные общественные силы. А всюду еще ждали, что Наполеон вернется. Уверены были

в этом и на Литве, и во всем западном краю, где в ополяченной помещичьей среде тяга на французскую сторону и враждебность России были даже сильнее, чем в самом герцогстве Варшавском. Александр думает переломить этот антагонизм созданием Польского королевства, связанного с Россией, а построенного из земель бывшей Речи Посполитой, которые у него в руках после оккупации герцогства: это по объему до 9/10-х ее территории, и для него все это — бывшая Польша; национальный вопрос сводится, по его разумению, к настроениям политически-активных, господствующих классов. Ему важно добиться, чтобы Россия получила Варшавское герцогство в силу международного договора, а там, поясняет он Чарторыйскому, он без затруднения выполнит остальное властью, какой у себя обладает, как сделал он и с Финляндией: присоединил к ней „старую Финляндию“ и дал конституцию. Но подобные проекты — предмет сложной борьбы. Среди русских большинство против них: „пусть, говорят, Александр царствует в Польше, если хочет вернуть полякам королевство“; в. к. Константин и почти весь военный и гражданский генералитет настаивает на прямой инкорпорации герцогства, как русской губернии, и на захвате от Пруссии земель до Вислы. Против польских планов Александра и его союзники, члены возобновляемой коалиции, правительства Англии, Пруссии, Австрии. Эта коалиция вообще налаживается, на первых порах, с трудом и большими ко-

лебаниями: много опаски и недоверия правительств друг к другу, особенно — к России. Притом, и в Пруссии, и в Австрии, настроение власть имущих еще глубже расходится с настроениями армии и населения, чем это было в России 1812 года. Общественные настроения эти — главный союзник Александра в освободительной борьбе против Наполеона и французов; их сила увлечет правительство, сплотит коалицию, даст Александру почву для широкой общеевропейской роли. Однако, в подобном союзе русского самодержца с европейским освободительным движением много двусмысленности, которая раскрывается шаг за шагом и ведет Александра к неизбежному крушению его идеологии, его личного дела, его индивидуального самочувствия.

Польский вопрос — главное препятствие в союзе трех континентальных держав: а польские планы Александра известны и в Вене, и в Берлине, так как его переписка с Чарторыйским была перехвачена. Но едва ли меньшие опасения внушает союзникам деятельность Штейна, не только советника Александра по германским делам, но и полномочного представителя его политики. Этот крупный государственный деятель, великий патриот своего германского отечества, преобразователь Пруссии, заложивший основы ее возрождения после пережитого разгрома, связал свои обширные планы освобождения и возрождения всей Германии с деятельной ролью России в европейских делах. Начатое Россией дело

национального освобождения от ига Наполеона должно охватить всю Европу. Цель Штейна — поднять, опираясь на русские силы, такое же национальное восстание в Германии, какое встретило Наполеона в Испании, и в общем порыве разрушить устарелые формы дробной политической организации и на их развалинах создать единую и сильную Германию. В таком деле нечего считаться с существующими немецкими правительствами: Штейн не скрывает враждебного пренебрежения к ним. Александр не поддавался таким планам; объединение Германии в подъеме не только освободительной борьбы против французской гегемонии, но и национального движения, революционно сокрушающего существующие правительства, весьма далеко от его желаний. Штейн — ценное орудие для организации европейской борьбы и для давления на колеблющиеся правительства, не более того. Когда Иорк, командовавший прусской армией на восточной границе, самовольно вошел в союз с русскими, не дождавших решения своего короля и вопреки его колебаниям, Штейн является в Восточной Пруссии с полномочиями от Александра, чтобы организовать тут управление, мобилизацию ополчения, всего, что нужно для освободительной войны. Успокоительные заверения Александра, что не в его намерениях подрывать дисциплину прусских владений, могли ли снять тревогу о дальнейшей судьбе этих земель — давнего объекта и русских, и польских притязаний? Ведь было известно, что Але-

ксандр думает о пересмотре территориальных владений и границ со сложной системой компенсаций. Когда же прусский король заключил, наконец, в феврале 1813 г. союзный трактат с Александром в Калише, он этим восстановил свое значение самостоятельного и державного члена коалиции, но для управления другими немецкими государствами, по мере их изъятия из-под власти Наполеона, организован временный правительственный совет из 4-х членов: двух — по назначению прусского короля, и двух — по назначению Александра (Кочубей и Штейн).

Порядки государственного территориального властвования в Западной Европе были настолько сбиты и подорваны бурной деятельностью Наполеона, что почва казалась, в значительной степени, расчищенной для различных новообразований. Предположения, проекты предварительных соглашений, переговоры о будущих судьбах Европы, насыщенные соперничеством, смелыми притязаниями, взаимным недоверием и интригами из-за грядущего дележа, — идут непрерывно между европейскими державами со времени первой антифранцузской коалиции. Простой возврат к прежнему положению дел был невозможен, да и не желала его ни одна из крупных держав. На смену Наполеону поднимались другие силы, готовые по-своему поделить его наследство. И крупнейшим наследником, для других опасным, казался Александр — и в Берлине, и в Вене, и в Лондоне. Приемы его политики, его воззвания, его планы и

проекты напоминали европейское хозяйничанье Наполеона. Нарастала в реакционных кругах и в напуганных правящих группах тревожная легенда об ужасном сговоре русского самодержца с европейскими якобинцами для замены диктатуры Наполеона такой же диктатурой Александра. Александр, действительно, популярен в патриотических и либеральных кругах, окружен приветами общественных масс, как „освободитель“. Александр, искусный дипломат, ловко лавирует между разными течениями и настроениями, которые надо обезопасить, согласовать и использовать для „общего дела“. Но, по существу, коалицию сплотила проявленная Наполеоном сила сопротивления, его новые победы, бесплодные, но грозные. Все соперничества, все притязания на время отложены для объединения в последнем усилии. Лейпцигская битва, наступление в пределах Франции, вступление в Париж — конец „великой эпопеи“, ее финал, режиссером которого был, несомненно, Александр, прошедший к конечному итогу через ряд сложных препятствий и больших напряжений. Отречение Наполеона и восстановление монархии Бурбонов казались заключением великой драмы. И тотчас все „объединение Европы“ повисло на волоске. Первый опыт конгресса для ликвидации великого наследства чуть не привел к новой европейской войне трех держав — Австрии, Франции и Англии — против двух — России и Пруссии — по вопросу о Польше и Саксонии. Проекты Александра ока-

зались взрывной миной, заложенной под еле намеченное здание европейского мира. Наполеон и на этот раз спас положение своим возвращением с о-ва Эльбы и восстановлением французской империи на сто дней. Силы, готовые к междоусобию, снова сплотились, чтобы окончательно свалить грозного колосса, каким еще оставался „маленький капрал“. Только замуровав его на о-ве св. Елены, Европа смогла заняться своими делами. Но эпизод „ста дней“ имел и другой еще смысл. Показал, какими опасностями грозит, по крайней мере, на французской почве, безудержная реакция, не желающая и не способная считаться с безвозвратным банкротством „старого порядка“. В этом новом уроке истории Александр нашел опору для своей политики преодоления непримиримых противоречий в компромиссе всеобщего мира, и внутреннего, государственно-полицейского, и внешнего, международного, — пока его самого не разбило крушение всей им созидаемой системы.

6.

„Император Европы“.

Наполеон, заново переживая былые деяния свои на глухом островке в дальних водах Атлантики, подвел им итог в широкой мысли о будущих судьбах Европы. Его целью, так пояснял он своему секретарю Лас-Казесу, было сконцентрировать народные

массы Европы, искусственно разделенные на множество политических единиц, и составить из крупных наций европейскую федерацию, с общим конгрессом, по американскому образцу или по типу древне-греческой амфиктионии, для решения общих дел и охраны общего благосостояния. Эта европейская федерация была бы объединена не только внешними, политическими связями, но также „единством кодексов, прицилов, воззрений, чувств и интересов“, единством правового строя и духовной культуры. Он высказывал, при этом, увереность, что рано или поздно такая организация Европы возникнет „силой обстоятельств“. „Толчок дан — говорил он, — и я не думаю, чтобы после моего падения и крушения моей системы могло существовать иное равновесие Европы вне концентрации и конфедерации крупных наций“. А Чарторыйский еще в 1806 г. характеризовал политические планы Наполеона, как „федеративную систему, сторонником которой он себя провозглашает с некоторых пор, и которая превращает его союзников в вассалов Франции, так что образует одну огромную империю, будущие размеры которой никто не в состоянии пока определить“. Эта „великая федерация“ под военной диктатурой Бонапарта должна была получить прочную спайку однообразной организацией управления, господством эгалитарно-индивидуалистического права французского гражданского кодекса, единством экономической политики в пределах континентальной системы

и повсеместным распространением рационального просвещения французского типа. В характерном для него сознании своей зависимости от хода самой жизни и создаваемой ею „конъюнктуры обстоятельств“, которую было бы безумно „скручивать“ (tordre) применительно к построенной системе, Наполеон переживал свои стремления, как отклик деятельной воли на объективное течение событий, свои планы, как осмысление его основных тенденций, Быть может, дальнозоркий видел слишком вдаль будущего; быть может, утопичной была не эта отдаленная перспектива. Но несомненной утопией было представление о путях и средствах достижения конечной цели, о ее близости и о тех основах, на которых ему мыслилась „европейская федерация“. На деле это была федерация под диктатурой, административное, экономическое, культурное объединение под господством — французских властей, интересов французской промышленности и торговли, даже французской школьной системы и французской цензуры.

Наполеон сильно преувеличивал устойчивость заложенных им основ. Не он, впрочем, один. Широкие общественные круги и выдающиеся общественные деятели ожидали всеобъемлющего преобразования европейской политической системы, прочных гарантий общего мира, — чуть не „возвращения золотого века“, по ироническому замечанию цинично-умного Фридриха Гентца, меттерниховского сотруд-

ника по части сокрушения таких иллюзий. Однако, и Гентц полагал, что постановления Венского конгресса имеют значение для подготовки мира к более совершенной политической организации.

Венский конгресс принес много разочарований. 9 июля 1815 г. подписан его заключительный акт, которым закреплены разные реставрации и переделы, плод деловых соглашений между великими державами, беспринципные итоги „трезвой" политики, одинаково свободной и от романтического увлечения феодальной стариной, и от новых идей политического либерализма или национальных самоопределений.

Александр не мог принять Венских трактатов за подлинную основу нового устройства Европы. Это для него — только внешние, условные соглашения. Он ищет, по своему, пути к устойчивому объединению Европы — на иных, однако, основах, чем те, какие рисовались воображению Наполеона. Те, французские основы, наследие революции и орудие Наполеона, сулят миру новые потрясения и должны быть подавлены. Союз великих держав скрепляется заново парижским договором 20 ноября 1815 года для этой цели. Дело коалиции еще не исчерпано, так как, по мысли этого трактата, „пагубные революционные правила, кои способствовали успеху в последней преступной узурпации, могут снова под другим видом возмутить спокойствие Франции, а через то угрожать и спокойствию прочих держав"; поэтому четыре коалиционные державы решили

не только немедленно условиться о мерах для охраны „общего спокойствия Европы“, но и согласились возобновлять в определенные сроки совещания или самих государей или полномочных министров о „важнейших общих интересах“ и мерах, какие признаны будут нужными для „охраны спокойствия и благоденствия народов и мира всей Европы“. Франция взята была под строгий и бдительный надзор. Оккупационная армия держала ее под стражей; конференция иностранных послов в Париже следила за действиями правительства Людовика XVIII и ходом французской общественной жизни, обращалась к его министрам с советами и указаниями, настойчиво и требовательно. Задача была в том, чтобы укрепить во Франции „порядок“, обеспеченный строем конституционной монархии. Для Александра тут — испытание консервативной силы законно-свободных учреждений: сдержать обе крайности — разгул реакции и новый взрыв революции,— наладить мирное существование буржуазной монархии, такова программа. Александр хотел бы придать ей общий, европейский характер, значение основы для замирения взбаломученных национальных и социальных страстей. Проявления резкой, непримиримой реакции, которые все нарастают и во Франции и в других странах, представляются ему не менее опасными для мира всего мира, чем выступление революционных сил. Он ищет компромисса в умеренном монархическом либерализме „октроирован-

ной“ хартии, в половинчатом конституционализме, понятом, как прием монархического управления.

К этому времени слагается у Александра свое особое представление и о той духовной основе, которая должна сменить традиции Великой революции иной культурной атмосферой, иным мировоззрением, господство которого обеспечит мирное и властям покорное состояние общества. Буржуазный либерализм сходился с реакционным клерикализмом в отрицании принципов революции, хотя и по разным основаниям. Если для Де-Местра в этих принципах проявляется дух сатанинский, то для Бентама они — ложные выводы из ошибочных предпосылок. Но не эти отрицания — романские и английские — дали новую опору идеологии Александра, а немецкий романтизм в его политическом применении, в том возрождении средневековых понятий о государстве, которое, несколько позднее, нашло себе законченное выражение в политических теориях Лудвига Галлера и Адама Мюллера. Еще ранее союзного трактата — именно в сентябре 1815 года — Александр подписал вместе с австрийским императором и прусским королем знаменитый „Акт Священного Союза“. Этот акт выражал „непоколебимую решимость“ участников союза руководствоваться в управлении государствами и в международных отношениях — заповедями святой веры, „вечным законом Бога Спасителя“, так как применение этих заповедей отнюдь не должно ограничиваться частною жизнью, а, на-

против, должны они „непосредственно управлять волею царей“ и всеми их деяниями. Таков принцип, в котором — единственное средство утвердить „человеческие постановления“ на прочном основании и „восполнить их несовершенства“. Примкнувшие к союзу монархи будут впредь „соединены узами действительного и неразрывного братства“, признавая себя „как бы единоземцами“, а своих подданных — „как бы членами единого народа христианского“. А внутри своих владений государи будут управлять „подданными и войсками своими“, как „отцы семейств“. А этим подвластным, так характерно поделенным на подданных и армию, рекомендуется „с нежнейшим попечением“ одно: „со дня на день утверждаться в правилах и деятельном исполнении обязанностей“; деятельно упражняться в исполнении обязанностей, „преподанных Божественным Спасителем“, чтобы наслаждаться миром, который создается доброй совестью и один только прочен.

Этот акт вызвал своим странным стилем и необычным содержанием немало недоумений. Кто отнесся к нему, как к бессодержательной болтовне (таково было первое впечатление, например, Меттерниха), а кто — и с большой опаской. В нем увидали попытку возродить старинную идею союза всех сил христианской Европы против мусульманского востока, прямую угрозу Турции, тем более, что Александр возбуждал на Венском конгрессе

вопрос о вмешательстве европейских держав на защиту христианских подданных султана, особенно, сербов, от „турецких зверств“ во имя „священного закона“ — этого палладиума политического порядка, во имя которого „вожди европейской семьи“ постановили отмену торговли неграми и борьбу с нею всеми международными силами. Пришлось Александру официально разъяснять, что акт Священного союза чужд аггрессивных задач. Ближе к реальному содержанию этого акта было опасение, что в нем звучит прямая угроза для стремления народов к национальному самоопредению, так жестоко поруганному в постановлениях Венского конгресса, и для всяких порывов к политической свободе, которым тут противопоставлялась патриархальная власть монархов. Действительно, отрицание национального принципа выдержано тут весьма определенно: акт Священного союза знает только одну нацию — „христианскую“, он по идее своей космополитичен на религиозной основе. Столь же определенно отрицание общественной самодеятельности и политической активности населения: в составе „христианской“ нации он видит только носителей власти и их подданных, вне „частной жизни“ признает только „волю царей“.

Акт Священного союза написан рукою Александра и получил некоторое значение только благодаря ему, как его личное дело. Поэтому естественно, что и объяснить этот акт пытаются

из личных настроений Александра, причем его содержание представляется, обычно, настолько противоречащим всему воспитанию Александра и всему его мировоззрению молодых лет, что тут находят черты какого-то перелома во всей его психике. Чтобы иметь какой-нибудь опорный пункт при решении вопроса о том, как это воспитанник Лагарпа стал „мистиком", приводят рассказ о том, что осенью 1812 года имп. Елизавета Алексеевна впервые дала ему в руки библию, в текстах которой он стал искать утешения от тяжелых переживаний; особое значение придают его мистическому флирту с баронессой Крюднер, которая выступает его нимфой Эгерией, вдохновительницей Священного союза и т. п. Во всем этом много любопытного для подробной личной биографии Александра. Но типические черты его деятельности и его воззрений едва ли выяснимы анекдотическим методом, а натура Александра, способная к большим колебаниям, едва ли обладала тою мощною цельностью переживаний и глубиной увлечений, какая необходима, как психологическая предпосылка, для внезапных и потрясающих коренных перерождений всего мировоззрения и мироощущения. Во всяком случае, исторически существенно отметить прецеденты той идеологии — церковно-политической и теоретической, — которая отразилась в акте Священного союза. А таких прецедентов было не мало и на русской почве. Их влияние подготовило Александра к тому направлению мысли,

которое оформилось в нем под воздействием немецкой реакционно-пиэтистической атмосферы, столь сильной в близком ему Берлине.

Не следует, прежде всего, упускать из виду, что акт Священного союза был политическим манифестом и что Александр был, прежде всего, политиком, чьи религиозные „искания" неотделимы от политических планов. Весь, так называемый, „мистицизм" Александра сложился в обстановке сложной политической борьбы и, каковы бы ни были его личные, интимные переживания, их направление и результаты определялись, по существу, условиями политического момента, которыми ему необходимо было овладеть.

Представление о религии, как одном из орудий властвования над общественной массой, о церковной организации, как органе государства в управлении страной, унаследовано им от 18 века. Такое назначение церкви в государстве получило твердую постановку в синодальной реформе Петра Великого, который, в значительной мере под прямым влиянием протестантских воззрений на роль светской власти в религиозном быту населения, окончательно ввел церковное управление в ряд правительственных учреждений империи. А эта петровская церковная реформа получила полное свое развитие именно в начале царствования Александра I, с тех пор, как он назначил своего статс-секретаря кн. А. Н. Голицына на должность синодального обер-прокурора и сделал

его своим докладчиком по церковным делам. „Царский наперстник“ — вопияли тогда церковные иерархи — стал править всеми делами церкви и „все утихло, а дух монарха водворится в синоде“. Александр обсуждал с Голицыным и Сперанским планы коренных преобразований в русской церкви, с целью поднять положение белого духовенства, освободить его от зависимости по отношению к прихожанам, поднять его материальное обеспечение и уровень его образования. Реформа духовных училищ проведена Голицыным и Сперанским вне влияния синода, а заведывание ими возложено на особую комиссию; состав самого синода определялся очередными вызовами архиереев, по представлениям обер-прокурора, т.-е. в полной зависимости от него. Бюрократизация церковного управления захватила не только „ведомство православной церкви“, но также „инославных“ — с учреждением в 1810 году главного управления духовных дел иностранных исповеданий, под ведением того же обер-прокурора. Это делало его органом государственного управления не только господствующей церковью, русской и православной, но религиозным бытом населения вообще. Так, еще в первой половине царствования Александра были заложены основы всей его дальнейшей церковной политики. Принцип этой политики — вероисповедный индифферентизм государства. Его крайним организационным выражением явилось учреждение в 1817 г. министерства духовных дел и народного просвеще-

ния (в соответствие такому же министерству царства Польского), первый департамент которого делился на 4 отделения: 1) по делам греко-российского исповедания; 2) по делам исповеданий римско-католического, греко-униатского и армяно-григорианского; 3) по делам всех протестантских исповеданий и 4) по делам еврейским, магометанским и всех прочих нехристианских религий.

Вероисповедный индифферентизм был, прежде всего, принципом полицейского государства. Власти просвещенного абсолютизма, подчиняя себе организацию всего быта подчиненного населения, в частности, и народного просвещения, видели в разноголосице исповеданий лишь досадное препятствие для планомерного воспитания общества, согласно своим предначертаниям, а в их суетливых раздорах — ненужное и вредное нарушение общего успокоения на полной покорности государству. Но дело не только в этом. В духовной культуре русского общества накопилось к началу 19 века не мало веяний, которые вели к тому же результату. Рационализм с его учением о „естественной“ религии, единой, в основе, для всего человечества, и с его преодолением теизма в пользу отвлеченного философского деизма, сходился с реакцией в пользу прав „чувства и веры“, и с масонством, искавшим самоусовершенствования „на стезях христианского нравоучения“, но при освобождении людей „от предрассудков их родины и религиозных заблуждений их предков“, от фанатизма

и суеверия, от всех причин международной вражды, какие мешают слиянию человечества в „одно семейство братьев, связанных узами любви, познания и труда“.

Александр вырос в атмосфере не только екатерининского двора, вольнодумного и рационалистического, но и гатчинского дворца, с его симпатиями к масонству, его немецкой, не чуждой пиэтизма закваской. Его друг А. Н. Голицын, ставший из светского вольнодумца религиозным человеком в годы своего обер-прокурорства, однако, не втянулся в православную церковность, но признавал, что все исповедания, все религии и секты — „явления одного и того же духа Христова“.

Характер того религиозного просвещения, которое Александр готов был признать основой желательной для него общественности, хорошо выражало „Библийское Общество“—международная организация для распространения священного писания. В январе 1813 года отделение этого общества открыто в Петербурге, и затем развернуло свою деятельность по провинции. Показательны для него и состав первого собрания, и определение его назначения. Для общего религиозно-просветительного дела сошлись в доме А. Н. Голицына: два православных иерарха, ректор духовной академии, духовный цензор, католический митрополит, три пастора и несколько светских лиц; а задачу свою — распространение библии — они поясняли тем, что в чтении этого свящ. писания

„подданные научаются познавать свои обязанности к Богу, государю и ближнему, а мир и любовь царствуют тогда между вышними и нижними“. Это не было списано с акта Священного союза, а ему предшествовало почти на год.

Существенно также вспомнить, что сохранился документ, собственноручно писаный Александром еще в 1812 году, если не ранее, свидетельствующий о весьма отчетливом и продуманном его знакомстве с мистической литературой. Это — записка „О мистической словесности“, составленная им для сестры, Екатерины Павловны. Тут писания мистиков, литература „внутренней церкви“, распределены на три разряда, по степени перевеса в них „отвлеченных теорий“ или практического нравоучения, с решительным предпочтением тех, которые, не предаваясь никаким теориям, занимаются единственно „нравственным образованием“. Явно, что Александр немного нового мог узнать из общения с бар. Крюденер и другими адептами мистических учений. Он вступил в 1813 г. на европейскую сцену с достаточно определенным отношением к тем религиозным течениям, какие его там встретили. Где же источник такой осведомленности Александра в мистической литературе? Вспомним, что это—та самая литература, изучением которой занят с 1804 по 1810 год Сперанский, пользуясь библиографическими указаниями Лабзина, притом в тех же французских переводах, какие известны Александру. Вспомним, что это—годы близости Але-

ксандра со Сперанским, их долгие беседы над прочитанными книгами, и трудно будет допустить, чтобы такое совпадение было случайным. Самое отношение записки Александра к разным авторам-мистикам с уклоном от подлинного мистицизма к практическому нравоучению, как и методичность классификации, живо напоминают манеру Сперанского, тот рационализм, ту систематичность и ту логическую отчетливость, которые он вносил всюду, в том числе и в свои занятия мистической литературой. Не мистика, в точном смысле, привлекала обоих, а религиозно-нравственная основа этой литературы, причем Сперанский, прочитав в ссылке акт Священного союза, узнал в нем осуществление своего давнего „мечтания о возможности усовершенствования правительств и о приложении учения Богочеловека к делам общества“, мечтания, эпоху приложения которой он считал „еще всегда отдаленной“ [1]).

Подчиняя крепче прежнего русскую церковь своей правительственной власти и сооружая, в то же время, широкую систему правительственных учебных заведений, Александр приобретал два крупнейших орудия для укрепления одной из основ „силы правительства“ — воспитания „в своих видах“ рус-

[1]) Ср. мою статью: „Идеология Священного союза“ в „Анналах“, кн. 3. В письме к Р. А. Кошелеву-масону Александр упоминает (в январе 1813 г.), что он уже несколько лет ищет пути, на который вступил, и их „духовные“ беседы относятся, по меньшей мере, к началу 1811 года.

ского общества. В эпоху первых своих исканий на путях к широким преобразованиям он увлекся было пропагандой тех либеральных идей, какими сам был занят; но разочарование в возможности разыграть роль самодержца-благодетеля, который ведет подвластное население к общему благу по своей мысли, при сознательном сочувствии подданных, пробудило иные инстинкты самодержца; стремление к переработке общественных воззрений и настроений, „согласно с видами правительства“, принимает совсем иной уклад. К вольнодумному рационализму 18 в. Александр усвоил и сохранил отрицательное отношение с юных лет; с ним он связывал ту распущенность, которую так жестко осуждал в екатерининском обществе. Это суждение он сохраняет и позднее, по адресу русского высшего дворянства. „К сожалению,—говорил он в 1812 году—лишь немногие из окружающих меня лиц получили надлежащее воспитание и отличаются твердыми правилами; двор моей бабки испортил воспитание во всей империи, ограничив его изучением французского языка, французского ветрогонства и пороков и, в особенности, азартных игр“. Светская дворянская культура, русско-французская, представлялась ему, в лучшем случае, пустой, в худшем — опасной, и в обоих — развращенной до корня. Но не менее чужд ему русский консерватизм — националистический, дворянский, православно-церковный, как и на Западе ему чужды реакционный аристократизм и католи-

ческий клерикализм роялистических кругов Парижа и Вены. Зато крепки его прусские симпатии — в прусской дисциплине, в аполитизме пиэтистических кругов немецкого мещанства, в монархизме протестантского юнкерства находит он отражение тех устоев „порядка“ и „мирного благополучия“, каких ищет.

Два течения в германском протестантизме привлекли сочувственное внимание Александра, как пригодные для идеологического увенчания и практического укрепления возводимой им политической системы: разложение догматики и подчинение религиозной общественности светским властям. Корни обоих исконные — в самой сущности реформации 16 века. Протестантский идеал субъективной религиозности искал у светской власти защиты от деспотизма духовной иерархии, какой бы то ни было, что неотделимо от падения силы авторитетной догмы. В развитии сектантства—естественного продукта реформации — разлагалось значение церкви, как общественной и политической силы, разлагалась и ее идеология, воплощенная в догматах и в организованном культе. Протестантские круги отдавали „епископскую“ власть в руки светского государства, в рассчете купить за эту цену полную веротерпимость при равнодушии власти к различиям исповеданий. От христианской религии оставался только „закон христов“—стремление жить по нравственным заповедям евангелия, без всякого противопоставления церковной общественности светскому государ-

ству. А такой скромной (в политическом смысле) религиозностью государственная власть весьма даже дорожила, как надежным средством против распространения революционных идей и настроений. Благочестие — залог законопослушности, а неверие, по отзыву Александра, — „величайшее зло, которым надо заняться“, чтобы его искоренить, подобно революционным движениям, с ним связанным.

Акт Священного союза не был случайным явлением, которое было бы вызвано теми или иными личными переживаниями Александра или сторонними влияниями на него. Идеология этого акта была подготовлена определенными течениями мысли на русской почве и, в то же время, имела опору в традициях и отношениях немецкого культурного мира, с которым Александр вошел в тесное общение. Она указывала ему ту общественно-психологическую почву, на которой, будь она реальна, он мог бы осуществить свои политические планы. Она соблазняла его своей мнимой широтой, соответствующей размаху его интернациональных планов, и своей гарантией политической благонадежности общественной массы. Де-Местр передает свою беседу с Александром по поводу „христианской конвенции“, как он называет акт Священного союза, вскоре после его появления. Он спросил Александра, не добивается ли тот „смешения всех вероисповеданий?“ И получил такой ответ: „В христианстве есть нечто более важное, чем все вероисповедные различия (и в то

же время он поднял руку и обвел ею кругом, словно строил собор всеобщей церкви): вот вечное. Начнемте преследовать неверие; вот — в чем величайшее зло, которым надо заняться. Проповедуем евангелие, это довольно великое дело. Я вполне надеюсь, что когда-нибудь все вероисповедания соединятся; я считаю это вполне возможным, но время еще не пришло". Такова „химера", по выражению Де-Местра, которая должна была лечь в основу братского единения всех правительств и покорных им смиренно-мудрых народов в „Священном союзе".

Александр пытался сделать идеологию Священного союза принципиальной основой „европейской федерации". Все христианские правительства Европы были призваны присоединиться к „христианской конвенции". Дело не вполне удалось. Правитель Англии, принц-регент, уклонился от официального признания акта, ссылаясь на неодолимые конституционные препятствия, на невозможность представить подобный акт парламенту, и ограничился личным письмом, в котором выражал готовность содействовать влиянию христианских истин на утверждение мира и благоденствия народов. Римский папа, глава католической церкви, также отклонил приглашение примкнуть к Священному союзу. В Риме теократическая окраска „христианской конвенции" не могла не вызвать возмущения, как попытка Александра выступить в роли главы (хотя бы и не единоличного, а триединого) и руководителя христианского

мира от имени божественного провидения, да еще на некатолической религиозной основе. Не даром представитель папского престола на Венском конгрессе, кардинал Консальви, заявил, при заключении конгресса, торжественный протест против отказа держав восстановить традиционный „центр политического объединения“ Европы — католическую священную Римскую империю. В скором времени римская курия еще яснее убедилась, насколько политика Александра, построенная на началах подчинения церкви государству и превращения религии в орудие политической дисциплины, противоречит принципам и интересам католической церкви: на возражения папы против его церковно-административных мероприятий по управлению „иностранными исповеданиями“ в России Александр ответил в личном письме к Пию VII указанием на свою твердую решимость устранить всякое вмешательство в эти вопросы со стороны власти, „не совместимой с системой покровительства, единения и братства, под знаменем которой мирно существуют все христианские церкви на всем пространстве России“.

„Императором Европы“ прозвали Александра патриотически настроенные русские люди с укоризной за то, что он поглощен в годы „эпохи конгрессов“ европейскими делами, фактически отстранившись от прямого управления Россией, которое оставил на комитете министров под руководством Аракчеева. А сам Александр, на широкой европейской арене,

ищет применения своих планов переустройства Европы на им намеченных основах, чтобы затем вернуться к преобразованию своей империи на тех же началах, которые казались ему гарантией мира, гражданского и международного. Наметив содержание своей политической и духовно-культурной программы в акте Священного союза и пытаясь придать ей значение международной, общепринятой директивы, он не считает ее реакционной, так как обманывает себя мыслью, что она согласима с господством умеренного конституционализма, как формы сотрудничества сильной монархической власти, патриархальной по духу и либеральной по приемам, с народным представительством благодарного и скромного в своем благонамеренном благочестии населения. Он как бы предвосхищает сентиментальную формулу славянофилов о единении царя с народом при разделе между ними функций: царю — сила власти, народу — сила мнения. То же начало единодушия и мирного единения стремится Александр провести в организации европейских международных отношений.

Тут мысль его в том, чтобы расширить и упрочить организацию союзной власти, намеченную Парижским союзным трактатом от 20 ноября 1815 года, до размеров и устойчивости органа международной федерации европейских держав. Предположенные там периодические конгрессы должны принять в свой состав представителей всех держав „христианской Европы" и получить широкую компетенцию в

улажении и предотвращении международных конфликтов, в борьбе с непорядками и бедствиями международного значения, а их совещания должны стать средством объединения внутренней политики всех государств на общих началах „Священного союза". Властная гегемония четырех коалиционных держав должна перейти в „братский и христианский союз" всех. Гегемония сильных не может дать прочную гарантию общего мира. Она навлекает упрек в новом захвате „всемирного владычества" союзом четырех держав и рискует повторить историю Наполеона, с одной стороны, и освободительных войн и национальных восстаний—с другой, когда государства, оставшиеся вне этого союза, заключат для самозащиты новую коалицию. Общему миру грозят две опасности: революция и насилие завоевателей. Это, по пониманию Александра и советников, разрабатывавших его мысли (теперь эта роль выпала на долю, преимущественно, Поццо ди Борго), две родственных силы: „ведь каждая революция, рассуждают они, будучи олицетворенною, есть не что иное, как завоеватель, посягающий на законную собственность и право; государи-завоеватели, равным образом, — не более, не менее, как революция, покрытая королевскою мантиею". Александр, в увлечении пацифистской своей мечтой о всеобщем умиротворении, ставит за одну скобку и революцию, и реакцию, и международные захваты, ведущие к борьбе коалиций. Общему спокойствию Европы угрожают опасности от революционеров и от

самих правительств, поскольку они держатся прежней политики — произвола во внутреннем управлении и сепаратных союзов в международных отношениях. Такую теорию всеобщего мира внесло русское правительство на первый же европейский конгресс (в Ахене, осенью 1818 г.). Тут представители России отстаивали идею „всеобщего союза“, который заменил бы союз четырех, и „всеобщей гарантии“ установленного в Европе порядка. Тут и потерпела свое первое и решительное крушение излюбленная утопия Александра. „Союз“ был только тем расширен, что в него была официально включена Франция: тетрархия стала пентархией, и только. Да и то весьма условно: недоверие к прочности бурбонского режима и опасение перед возможностью новых взрывов французской революционной и национальной энергии побудили 4 державы „секретно“ подтвердить свой особый союз 1815 года „на случай войны с Францией“. Весьма платоническим, как показал дальнейший ход событий, оказалось проведенное Россией постановление конгресса, ограничивавшее международный деспотизм пентархии, о том, что вопросы, касающиеся других держав, стоящих вне основного союза, могут быть поставлены на обсуждение конгресса не иначе, как по формально заявленному желанию их самих и при их участии. Александр видел в этом шаг к утверждению за конгрессами значения высшего учреждения, направляющего ход мировых отношений к охране „по-

рядка и справедливости" в мировом масштабе, притом без нарушения „законного суверенитета" каждой страны, без насильственной интервенции в ее дела. Но чем шире развертывалась проблема организации солидарности, тем острее и резче выступали конкретные антагонизмы. В поддержке Россией самостоятельности и прав внесоюзных держав другие, а, прежде всего, Австрия и Англия, Меттерних и Кэстлри, видели ее стремление сохранить и усилить свое международное влияние за счет остальных „великих держав" и проявление традиционной ее политики — поддерживать мелкие германские государства против Австрии и Пруссии, объединять морские державы против английского морского господства. Так русский проект образования международной морской силы для систематической борьбы против торговли неграми и пиратства — сорван возражениями английского правительства; зато английский проект вмешательства держав в борьбу Испании с восставшими колониями и ее умиротворения путем посредничества — сорван возражениями России и Франции, из опасения усилить то английское влияние и в колониях, и в Испании, с которым их дипломатия и так неустанно боролась, по мере сил, хотя и с малым успехом. И в ряде вопросов выявлялась нараставшая противоположность между русской и австрийской, русской и английской политикой. Однако, не только разрозненность и соперничество великодержавных интересов членов союза подрывали и

разлагали намеченную было „федеративную солидарность“. Глубже и грознее была другая опасность для пацифистской утопии Александра. Общий мир — говорил один из русских дипломатов — нуждается в опекающей его силе; если не допустить, чтобы этой силой стала демократия, надо взять ее в руки великих держав. Тщетной и бессильной была попытка Александра разрешить неразрешимую задачу: вырвать знамя „свободы, права и справедливости“ у сил революционных, сохранить абсолютизм, облекши его господство в формы законности, избежать реакции, подавляя самочинные проявления общественного движения. Неустойчивой оказывалась новая система международных отношений из-за неразрешенных, а только прикрытых ею державных антагонизмов; но она поддерживалась не столько потребностью сохранить внешний мир после стольких лет изнурительных войн, сколько страхом власть имущих перед смятым временно, но не угасшим стремлением общественных сил к свободной самодеятельности. В Англии, стране относительно зрелого промышленного капитализма и нараставшего рабочего движения, парламентарный строй государственной власти обеспечивал буржуазии иные пути к завершению своего преобладания над пережитками феодально-аристократических сил; ее представитель Кэстлри возражал против рискованной политики союза правительств для подавления народов, и Меттерних вынужден убедиться, что нечего рассчитывать на

участие в активной реакции власти, „столь связанной в своих формах“, как английское правительство. На континенте — дело иное. Тут далеко не законченной оказывалась борьба буржуазного либерализма против сил „старого порядка“, которые не только упорно отстаивали свои расшатанные, но еще крепкие позиции, но и стремились, в союзе с монархической властью, вернуть утраченное господство. Из государственных деятелей того времени Меттерних всего ярче ощущал подъем революционной волны. Революционный порядок во Франции сломлен коалицией и реставрацией, но революционный дух лишь усилился, нарастает и распространяется все шире и шире. В борьбе с ним сложилось своеобразное воззрение Меттерниха на всю политическую и общественную жизнь, как на арену борьбы двух начал — положительного и отрицательного, охранительного и разрушительного. Подавлять всеми доступными средствами движение, рвущееся к новому, неизвестному, и охранять, по мере сил, существующий строй — вот и вся программа Меттерниха. Подводя итог своему житейскому опыту, он чувствует себя, „подобно человеку, который уцелел бы, стоя на острове во время всемирного потопа“: вся его работа только в том, чтобы „класть камень на камень и, где можно, стать еще выше“, отдалить роковой момент, когда подъем жизненных волн, ему чуждых, захлестнет последнее убежище, вырвет из-под ног последнюю почву. Компромиссы Александра казались ему смеш-

ными и жалкими по существу, а на деле — опасной игрой: „то, что я хотел сделать с 1813 года, этот ужасный император Александр всегда портил“ — таков его отзыв.

Он сделал то, что хотел, помимо Александра, в 1819 г., знаменитыми „карлсбадскими постановлениями“, которые возвели для всей Германии в систему безудержную реакцию.

Таков был ответ Меттерниха на акт священного союза; только полицейским террором можно, если не подавить, то сдержать жизнь, готовую вырваться из-под опеки „законных“ властей. Александру на это нечего было возразить. На русской почве опыт насаждения „начал Священного союза“, проделанный его министерством духовных дел и народного просвещения с целью водворить „постоянное и спасительное согласие между верою, ведением и властью“, привел к тому же результату, что карлсбадские постановления Меттерниха, — к разгулу полицейского и цензурного произвола.

Александр сдался не сразу. В инструкциях своим представителям при иностранных державах он продолжает развивать свои излюбленные мысли о том, что „современные правительства вовсе лишены опоры в сочувствии общества, тогда как, напротив, вся их сила должна бы состоять в силе тех либеральных учреждений, какими они предоставят пользоваться своим народам“; что „время, в какое мы живем, требует, и требует настоятельно, чтобы пра-

вительства и особенно те, которые прошли через революционные кризисы, сами, по своей воле, приняли на себя обязательство управлять на основаниях, точно определенных, и в формах, твердо установленных“. Союз великих держав не может иметь „нелепые интересы неограниченной власти“, но для него возможно только отрицательное отношение к политическим нововведениям, которые были бы навязаны правительствам революционным путем или вырваны у их слабости, как вынужденные уступки. Меттерних, не сочувствуя „законным революциям“, тем „революциям сверху“, о которых Александр отзывался более чем сочувственно, готов был, однако, согласиться, что конституционные реформы, исходящие от самого правительства, „вообще говоря, не оправдывают иностранного вмешательства“, тогда как революция „незаконная“ вызывает „общую опасность“, а потому оправдывает „иностранную интервенцию“. Эти утверждения и были приняты на конгрессе в Троппау (окт. — дек. 1820 г.), признал их и Александр, настаивая, притом, что основанием всей политики союзных правительств должен служить акт Священного союза, и что в этом акте надо видеть основание и для вмешательства во внутренние отношения государств, потрясенных смутой. Так свершилась естественная судьба Священного союза. Отпал на деле утопический либерализм Александра, а реальным содержанием „христианской конвенции“ стали — „карлсбадские постановления“. Тщетно про-

тестовал Кэстлри, представитель Англии, против превращения союза в какую-то „общеевропейскую полицию“, против „учреждения в Европе своего рода общего правительства с верховной директорией, разрушительною для правильных понятий о суверенности отдельных стран“, против опасного отделения правительств от их народов и основания прочности этих правительств на иностранной интервенции. Революции Неаполя и Пьемонта окончательно разбили возможность компромиссной политики в духе Александра, вскрывая противостояние в европейской жизни реакции и революции; испанская революция и греческое восстание выявили общеевропейский характер их борьбы. Конгрессы в Лайбахе (янв. — апр. 1821 г.) и Вероне (окт. 1822 г.) берут на себя определенно роль „директории“ той общеевропейской полиции, которую предвидел Кэстлри, и доводят „пентархию“ до распада: Англия отреклась от союза, Франция использовала его для своего вмешательства в инспанские дела, но не пошла слепо за политикой Меттерниха. В эти годы родилось то разделение Европы на два лагеря, та противоположность тройственного союза старых монархий политике двух конституционных государств, которая определяет европейскую политику 30-х годов, чтобы затем, когда новые течения охватят всю Западную Европу, создать роковую изоляцию России Николя I.

Александр уже в Троппау приехал сильно изменившимся, готовый подчиниться „консервативной

системе“ Меттерниха. В интимной беседе с ним, он выражал сожаление „обо всем, что говорил и делал между 1815 и 1818 годами“, признавал, что Меттерних вернее его судил об „обстоятельствах положения“, высказывал готовность исполнять предначертания австрийского премьера. Это была капитуляция идеолога-диллетанта перед политиком-практиком. Но это была также капитуляция русского императора перед австрийским министром. Александр терял силу и возможность противодействовать торжеству австрийской политики в Германии и Италии; под флагом принципиальной защиты „старого порядка“ и борьбы с революционным движением Австрия водворяла свою гегемонию в этих странах, парализовала русскую политику в Восточном вопросе. Рухнула фантастическая утопия о построении европейской федерации на консервативных началах; рухнула и вся утопическая идеология Александра. Внутренние ее противоречия, противоречия попытки согласовать несогласимые политические принципы и отраженные в них интересы — раскрылись с неодолимой силой. Подводя итог положению политического мира после Веронского конгресса в „циркулярной ноте“ от 14 декабря 1822 года, Александр признает силу революционного движения, охватившего европейские страны: „современность происшествий не дозволяет сомневаться в однородстве начал и причин оных“; союз монархических правительств должен сосредоточить свои усилия на одной „великой цели“: на

защите общими средствами своей власти, как „священного залога“, в сохранности которого им придется дать отчет потомству; „всякие иные побуждения“ надо устранить из их политики.

Революции Неаполя и Испании носили характер военных „пронунциаменто“. Революционность регулярных войск производила на Александра, питомца гатчинской школы, особо потрясающее впечатление. В Троппау он получил донесение о беспорядках в л.-гв. Семеновском полку, состоявших в массовом протесте солдат против мелочной требовательности и чрезмерной строгости полкового командира. Александр сразу решил, что „никто иной как радикалы устроили все это, чтобы застращать его и принудить вернуться в Петербург“, так что даже Меттерниху пришлось возражать, указывая, насколько невероятно, чтобы в России „радикалы“ уже могли располагать целыми полками. Однако, Александр остался при своем мнении. В письме к Аракчееву он настаивает, что тут было „внушение“ со стороны, притом „не военное“, он приписывает это „внушение“ — агитации „тайных обществ, которые, по доказательствам, которые мы имеем, состоят в сообщениях между собою и коим весьма неприятно наше соединение и работы в Троппау“. Дело Семеновского полка, для Александра, — одно из проявлений международной революции, направленной против международного союза „законных“ властей. Мнение это поддерживалось сознанием, что протест семе-

новцев — не случайность, что в его основе — общее осуждение мелочного и жесткого военного режима, распространенное, прежде всего, в офицерской среде, и влияние на военную среду новых гуманитарно-либеральных веяний, распространенных в обществе: „заражение умов есть генеральное“ — говорил Константин Павлович.

Покаянный тон, каким Александр заговорил с Меттернихом в Троппау, дал естественное выражение отречению его от „заражения умов“, поскольку сам он был к нему причастен. В тронной речи при открытии осенью 1820 года второго польского сейма Александр еще не отрекался от мечты о согласовании либеральных учреждений с полнотою монархической власти, на общей консервативной задаче охраны „порядка“. Он говорил полякам: „еще несколько шагов, направленных благоразумием и умеренностью, ознаменованных доверенностью и правотою, и вы достигнете цели моих и ваших надежд“; он пока не забросил занятий проектом общеимперской конституцией, хотя, видимо, уже без веры в ее осуществимость. Но в той же речи он уже подчеркивает значение конституции, как произвольного дара с высоты престола, говорит о „духе зла“, который „парит над частью Европы“, и предупреждает о необходимости сильных средств для его подавления. Александр уехал, раздраженный проявлением оппозиции против правительственных законопроектов, со словами сейму при его закрытии: „вы

задержали развитие дела восстановления вашей отчизны, на вас ляжет тяжелая ответственность за это", и дал Константину carte blanche в приемах охраны покорности и порядка. На очередь стало не развитие конституционных начал в Польше и в империи, а стремление обезвредить их рядом ограничительных стеснений в царстве Польском с фактическим отказом от мысли дать им применение в общеимперском масштабе. Лично для Александра настало время последнего кризиса; с отречением от общеевропейской роли и от роли преобразователя империи на тех же „европейских" началах, на которых строились все его планы, он теряет почву под ногами. Гаснет в нем сила и охота к жизни.

7.

Последний кризис.

„Когда подумаю, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря; от этого устаю" — так говорил Александр в 1824 году, объясняя случайному собеседнику то впечатление глубокой утомленности жизнью, какое он производил в последние годы. Он перестал обманывать себя иллюзиями, которыми прожил всю предыдущую жизнь. Вигель, острый наблюдатель, сравнивал его с помещиком, который, наскучив сам управлять имением, сдал все на руки

строгого управителя и успокоился на уверенности, что в таких руках крестьяне не избалуются. У самого Александра руки опустились; с живым интересом он относится только к военному делу, как его понимает, — к внешней фронтовой выправке войск на смотрах и парадах. Остальное, почти целиком, в руках Аракчеева. „Продолжительным затмением" назвал последние годы Александра один из его современников, тот же Вигель: „он был подернут каким-то нравственным туманом".

Глубоко разочарованный, он отрекается от каких-либо идеологических исканий. Былой либерализм — грех юности. Впечатления от европейского революционного движения раскрывают ему коренную противоположность между той консервативной законностью, опорой сильной правительственной власти, о водворении которой он мечтал, и политической свободой в условиях правового государства, общественного и национального самоопределения, какого добивались либеральные идеологи. Отрекается он и от своей „мистики", от попыток связать с политикой свой идеал в невероисповедной, интернациональной религиозности. Нечего мудрить: „одни лишь беспокойные умы находят отраду в тонкостях"; „обязанности, возлагаемые на нас, надо исполнять просто". В эти последние годы Александр пассивно переживает возврат и внешней и внутренней политики своего правительства к национально-консервативным началам. Нет больше речи о реформах. Нет

больше и стремления водворить в России религиозно-просветительную идеологию Священного союза.

По возвращении из Лайбаха, Александр получил как бы подтверждение своей уверенности, что дело Семеновского полка есть только одно из отражений общего европейского революционного движения. Генерал-адъютанты Васильчиков и Бенкендорф встретили его докладами о деятельности тайных обществ, о политическом заговоре, охватившем многих офицеров гвардии и армии. Имена ряда будущих декабристов были известны Александру с 1821 года. Известен рассказ Васильчикова об отзыве Александра на эти разоблачения: „Вы служили мне с начала моего царствования, вы знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии и эти заблуждения; не мне применять строгие меры". Заговор казался не опасным, заговор идей, не борьбы и дела. Быть может, Александр думал, что эти идеологические увлечения пройдут, как у него, угаснут при встрече с жизнью? Он не принял строгих мер, даже никаких не принял. Но суровая муштровка войск, которой он попрежнему увлекается, на проверку которой отдает, пожалуй, всего больше времени, продолжается с новой настойчивостью. Эта система обучения войск и их дисциплинарного воспитания отравила вместе с родным ей духом крепостнического деспотизма и пренебрежения к личности человеческой быт военных поселений, того из преобразовательных начинаний Александра, которое оказалось наиболее живучим и

проводилось руками Аракчеева с беспощадной, жестокой настойчивостью. Дрессировка в слепой и покорной исполнительности должна была искоренить тонкости беспокойных умов.

Исполнительность, как принцип всех отношений, и суровая муштровка в безгласном повиновении олицетворена в Аракчееве. В нем и опора реакции в сторону традиционных начал политики, одинаково враждебных и „либеральным" и „мистическим" увлечениям. Консервативная и националистическая оппозиция ставила их за одну скобку, сводила к общему источнику. Столп церковно-православной реакции, пресловутый архимандрит Фотий, считал сектантские и мистические течения в религии — источником революционных движений, а правоверную церковность — оплотом государтвенного и общественного порядка. Адмирал Шишков противопоставлял и либерализму и всей политике в духе Священного союза свое „истинно-русское" воззрение, согласно которому и библейские общества, и мистический пиэтизм выросли из тех же корней, как конституционные и радикальные политические движения — из враждебного старым традициям рационализма, из „хаоса чудовищной французской революции": все это — разные стороны одного направления темных сил, цель которого — поколебать в России православие и вызвать в ней внутренние раздоры для сокрушения ее могущества. Весною 1824 года А. С. Шишков, поклонник екатерининской эпохи, ее внешней славы и крепких традиций

дворянской монархии, сменил кн. А. Н. Голицына в управлении и народным просвещением и духовными делами. Но само министерство, объединявшее „веру и ведение", было, при этом, разделено на два ведомства: министерство народного просвещения и главное управление делами иностранных исповеданий; полномочия министра по делам православной церкви достались в наследство синодальному обер-прокурору. Шишков сразу определил задачу своего министерства, как боевую — реакционную: оберегать юношество от заражения „лжемудрыми умствованиями, ветротленными мечтаниями, пухлою гордостью и пагубным самолюбием", а наукам обучать только „в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое звание в них имеет"; обучать же грамоте весь народ или хотя бы „несоразмерное" количество людей признал вредным. При первом же докладе своем Александру он настаивал на усилении цензурных строгостей, на закрытии библейских обществ и других мерах для „потушения того зла, которое хотя и не носит у нас имени карбонарства, но есть точно оное". Александр воздержался от подписания заготовленного Шишковым рескрипта, сурово осуждавшего всю прежнюю систему просвещения и цензуры с поручением новому министру их решительного преобразования, но оставил злополучное ведомство в руках Шишкова, который и подготовил переход русской политики просвещения к национально и сословно-консервативной системе Николая I.

Возврат к традиционным началам русской политики вполне определился и в отношениях международных. Английский министр иностранных дел, преемник Кэстлри, Каннинг, приветствовал распад „европейского союза“ после Веронского конгресса словами: „так дела возвращаются опять к здравому состоянию; каждая нация за себя, а бог за всех“. По отношению к России это сказалось особенно ярко в Восточном вопросе. Александр настаивает на активном вмешательстве в балканские дела, но не с точки зрения „легитимизма“ и прав султанской власти, а чтобы заставить Турцию признать автономию не только дунайских княжеств, но и Греции, а когда петербургская конференция представителей России, Австрии, Прусии и Франции решительно отклонила это предложение (февраль 1825 г.), он заявил (в циркулярной ноте от 6 авг. 1825 г.), что возвращает себе самостоятельность действий в Восточном вопросе и будет руководиться в отношении к Турции только интересами и престижем России, а затем вступил в сношения по этому вопросу с Англией, опасаясь, что дальнейшая пассивность России в балканских делах приведет только к окончательному вытеснению ее влияния в пользу Англии. И тут Александр уступал давлению русской правящей среды, опиравшейся на настроение широких общественных кругов, хотя и с меньшим противоречием своим личным воззрениям в данном вопросе, но с несомненным разрывом по отношению к политике конгрессов.

Он идет на новые пути почти пассивно, с острым ощущением, что личная его роль не только сыграна, но и проиграна. Его окружала атмосфера общего недовольства его правлением различных кругов, осуждавших его деятельность с самых разных точек зрения. И это понятно, так как никакой устойчивой, выдержанной основы в этой деятельности не оказалось. „Проследив все события этого царствования, что мы видим?“—записывает в своем дневнике один из сенаторов при получении известия о смерти Александра:—„полное расстройство внутреннего управления, утрата Россией ее влияния в сфере международных сношений... Исаакиевская церковь, в ее теперешнем разрушенном состоянии, представляет точное подобие правительства: ее разрушили, намереваясь на старом онований воздвигнуть новый храм из массы нового материала... это потребовало огромных затрат, но постройку пришлось приостановить, когда почувствовали, как опасно воздвигать здание, не имея строго выработанного плана. Точно так же идут и государственные дела: нет определенного плана, все делается в виде опыта, на пробу, все блуждают впотьмах...“ И автор дневника заключает свой перечень разных противоречивых и сбивчивых черт в действиях правительства такими словами: „объяснить все эти несообразности довольно трудно, их можно только понять до некоторой степени, допустив, что они происходили от особенностей характера Александра I“. Объяснение, конечно, недостаточное, но естественное.

Восприимчивый к различным течениям жизни, мысли и настроений, традиций и исканий, Александр сам был сыном своего времени, оказавшимся не в силах преодолеть, хотя бы для себя, их разнородных и противоречивых влияний и требований. Пирлинг, так внимательно присмотревшийся, в частности, к его религиозным интересам, приходит к выводу: „что особено заметно, так это — склонность к эклектизму; его беспокойный и нерешительный ум мучительно не хотел запираться в какую-либо определенную догму“. Отзывчивый на самые различные течения мысли и чувства, „Александр прекрасно чувствует себя в этом удивительном смешении принципов и не дает увлечь себя этому круговороту“. Что в религии, то и в политике: удивительное смешение принципов, круговорот разнородных интересов, с постоянным исканием их компромиссного синтеза, но без цельного увлечения и без сильной воли, которые одни могли бы дать выход к синтезу определенному и устойчивому.

Таков Александр, судя по всему, что о нем знаем, и в личной жизни, в отношении к людям: неустойчивый, неуловимый. Сам Аракчеев говаривал про него: „вы знаете его — нынче я, завтра вы, а после опять я“. Самолюбивый и недоверчивый, занятый своей ролью, он пользуется людьми, умеет играть в откровенность и доверчивость, но они для него средства и всегда не очень надежные. „Занимаясь вещами, пренебрегают людьми“ — заметил про

него Сперанский. Он всего искреннее, повидимому, тогда, когда заявляет, что никому не верит. И прожил Александр свою жизнь, по существу, очень одиноко. Семейные отношения, полные взаимной подозрительности, оглядки и притворства, наложили неизгладимую печать на все его отношения к людям. По воцарении, он роль императрицы в большом дворце оставляет за матерью, покушения которой на политическое влияние его тяготят и заставляют быть постоянно на чеку, вступать в объяснения, даже защищаться. Жена — Елизавета Алексеевна — в тени, не сотрудница императору и не играет существенной роли в личной его жизни. Частая усталость от напряжений императорства заставила его особенно дорожить связью с М. А. Нарышкиной, урожд. Четвертинской, которая дала ему (с 1804 г.) суррогат семейной жизни, жизни вне дворца и политики; ей был строгий запрет касаться общественных дел и политических тем; смерть их 18-летней дочери в 1824 г. Александр пережил, как большое горе, которое подкосило его и без того расшатанные силы. Утомление ролью правителя и всей напряженностью связанных с нею отношений часто звучит в беседах Александра с молодых лет, и все нарастает; в его повторных заявлениях о намерении отказаться от власти — не одни слова в духе сентиментального века: в них, надо это признать, звучит с трудом преодолеваемое сознание непосильности для него огромной роли, какая выпала ему на долю.

Моменты самокритики, и острой, у него бывали, но их одолевали большое самолюбие и личное увлечение этой самой ролью. Но осадок от них оставался, — в подозрительной оглядке на окружающих, в повышенной чувствительности к каждому суждению о себе, в щекотливости к любой наслышке. Это настроение, повышенное физическим недостатком — ослаблением слуха — придавало особую остроту его общему пессимистическому мнению о людях, какое он вынес из общения с придворной средой.

Тяжким кошмаром прошла над ним кровавая ночь с 11 на 12-е марта 1801 года. Пережитого в те дни он никогда не забывал. Эти воспоминания входили в его политические рассчеты, влияли на оценку им людей и положений. „Мне Пален не нужен“ — вырывается у него в отзыве о проделках за его спиной министра полиции Балашева — „он хочет завладеть всем и всеми, это мне нравиться не может“. Но он готов использовать тех, кого называет „злодеями“, для интриги, для того, чтобы иметь повод избавиться от докучных людей.

Окружающие считают Александра склонным и способным к интриге, к намеренной сплетне, сознательной клевете. Он мелочно подозрителен, боится интриг и впутывается в них, сам их создает, охотно слушает доносы, требует от своих сотрудников, чтобы они следили друг за другом. Совет Наполеона — ссорить между собой министров и генералов, чтобы они выдавали друг друга, поддерживать вокруг себя

безграничную зависть таким обращением с окружающими, чтобы то один, то другой считал себя предпочтенным и никто не был бы никогда уверен в его расположении, совет, о котором сам Александр рассказывал г-же де-Сталь, не пропал даром и попал на подходящую почву.

Эти приемы составили бытовую подкладку выполнения советов Лагарпа: пользуясь министрами и другими сотрудниками, все направлять и все решать самому. Александр не желал быть только главою правительства, зависеть от группы сотрудников, связанных установленной программой, „запереться в определенную догму". Он органически не годился в конституционные государи. В министрах ему нужны исполнители, способные уловить его мысль, разработать его планы, выполнить его намерения. Самостоятельность и разногласия быстро вели к расхождению. Так было с негласным комитетом, так было со Сперанским. Загадка „падения Сперанского" совсем не так загадочна, как о ней много писали. Александр разошелся с ним по существу. Разочаровался в его „плане всеобщего государственного образования", которым не разрешалась искомая задача соглашения самодержавия с законно-свободными учреждениями и работа над которым была лишь этапом его личной политической идеологии. Разочаровался и в финансовом плане Сперанского. А занятое Сперанским положение первого министра тяготило, как отдаление от власти. Несомненно, что

Александр испытал ощущение захвата слишком большой доли влияния чужими руками. В этом и было „преступление“ Сперанского, осознанное обоими: Александр знал, повидимому, что Сперанский им тоже недоволен, как сотрудником в делах правления, за то, что он „все делает на-половину“, и за то, что он „слишком слаб, чтобы управлять и слишком силен, чтобы быть управляемым“. Призрак таинственности придан этой истории приемами Александра, чтобы найти повод для разлуки, и не простая отставка, а опала и высылка лица, накануне всемогущего. Но отставной Сперанский был бы невозможен в столице именно, как вчерашний полудержавный властелин, а колебания Александра и его самолюбивая подозрительность могли найти выход только в „падении“ этого своего рода соперника. Сознание, что получился эффектный политический жест накануне разрыва с Францией пришло, повидимому, только потом, под впечатлением общего раздражения против павшего деятеля. Презрительно отзываясь о людях, которые вчера угодничали перед временщиком, а теперь кидали в него грязью, Александр, однако, находил оправдание своей меры в общем, как казалось, ее одобрении.

Человеком, на которого нельзя положиться, считали Александра наиболее близкие люди. За недоверие платили ему недоверием. Упомянутый отзыв Аракчеева был, возможно, не без горечи; даже он, личный друг, не всегда чувствовал себя прочным:

повидимому, он знал, что у Александра и за ним есть наблюдение. И тою же чертой Александра — ревностью к единоличной власти в связи с недоверчивостью к людям — всего, повидимому, естественнее объясняется странное дело о престолонаследии. Младшие братья, Николай и Михаил, иной раз жаловались, что Александр держит их только военными командирами. Намеченный в преемники, Николай не только не был объявлен наследником, но не получил и подготовки к будущей роли правителя ни постановкой его образования, ни участием в государственных делах. Александр держал братьев в строю и в строгой субординации. Отречение Константина было оформлено только келейно, между членами императорской семьи, а заготовленным актам о престолонаследии придан небывалый характер посмертных распоряжений, которые будут опубликованы только, когда их автор ляжет в могилу, и, стало быть, перестанет быть носителем власти. Этот государственно-правовой парадокс, который можно назвать политической бестактностью, не смущал Александра. В состоянии моральной депрессии, в каком он доживал последние годы, он готов был откладывать крупные и требовавшие решимости действия до времени, когда не ему придется их совершать. Так в деле будущих декабристов, так в деле о престолонаследии. А черты этой моральной депрессии явственны в его закате. Он точно места себе не находит. Потеряв устои своей

европейской роли, он отдает, характерно, много времени поездкам по России. Эти продолжительные поездки, иногда по дальним областям и севера, и востока империи, не связаны с какими-либо правительственными задачами и не приводят к каким-либо мероприятиям. От них остается впечатление погони за новыми впечатлениями, за отдыхом от правительственных дел, за тревожным уклонением от запросов власти, потерявшей для ее носителя личный смысл с крушением прежних планов и внешней и внутренней политики. Почва для наивной легенды о старце Федоре Кузьмиче, с которой научно-критически покончил только в наши дни К. В. Кудряшев, была подготовлена всем поведением Александра в последние годы его жизни. Силы ему изменяли — и духовные, и физические. Былой интерес к религиозным течениям, некогда связанный с широкими политическими планами, переходил в попытку найти успокоение и утешение в личной набожности и беседах с духовниками, носителями „высшего“ авторитета.

В одну из дальних поездок, в далеком Таганроге, угасла жизнь Александра, пережившего все свои иллюзии и все свои разочарования. Настала новая, николаевская эпоха, с ее резким утверждением самодержавия, решительным противопоставлением России и Европы, „порядка“ и „революции“, без всякого, хотя бы условного, компромисса с „новыми идеями“.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Проф. С. И. ТХОРЖЕВСКИЙ — Стенька Разин.
„ М. Д. ПРИСЕЛКОВ — Нестор Летописец.
„ Н. И. КАРЕЕВ — Карлейль.
„ А. И. ХОМЕНТОВСКАЯ — Кастильоне.
В. А. НИКОЛЬСКИЙ — Суриков.
Проф. В. П. БУЗЕСКУЛ — Перикл.
„ Д. П. КОНЧАЛОВСКИЙ — Аннибал.
„ Д. Н. ЕГОРОВ — Шлиман.
Акад. С. Ф. ПЛАТОНОВ — Иван Грозный.
Проф. А. Е. ПРЕСНЯКОВ — Александр I.
„ Г. П. ФЕДОТОВ — Абеляр.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Т. Н. АНЦИФЕРОВА — Юрий Крижанич.
Проф. И. М. ГРЕВС — Данте.
„ Н. И. КАРЕЕВ — Дантон.
Н. Д. ШАХОВСКАЯ — Князь Курбский.
Проф. А. Е. ПРЕСНЯКОВ — Николай I.
„ К. В. КУДРЯШЕВ — Платон Зубов.
„ О. А. ДОБИАШ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ — Ричард Львиное Сердце.

Л. П. ГРОССМАН — Путь Достоевского (*готовится к печати*).

СБОРНИК ГОСУД. ПУБЛИЧН. БИБЛИОТЕКИ (неизданная рукопись И. А. Гончарова — «Необыкновенная история»). Ц. 2 р. 50 к.

С. Н. ТРОЙНИЦКИЙ. Отдел драгоцен. Эрмитажа:

Вып. 1. Веера. Ц. 3 руб.

» 2. Английское серебро. Ц. 3 руб.

» 3. Часы

» 4. Табакерки } (*готовится к печати*).

О. Ф. ВАЛЬДГАУЕР. Римская портретная скульптура в Эрмитаже. Ц. 2 р.

Его-же. Античная скульптура в Эрмитаже. Ц. 5 р.

В. Н. ТАЛЕПОРОВСКИЙ. Павловский парк (с рис. автора). Ц. 3 руб., на веленевой бумаге. Ц. 5 р.

В. А. НИКОЛЬСКИЙ. Древне-русское декоративное искусство Ц. 2 р.

Н. Э. РАДЛОВ. От Репина до Григорьева (статьи о современных художниках). Ц. 2 р. 50 к.

Л. А. МАЦУЛЕВИЧ. Русское церковное искусство XVIII и XIX в.в. (*готовится к печати*).

М. И. МАКСИМОВА. Античные резные камни (*печатается*).

М. В. ФАРМАКОВСКИЙ. Майолика в России (*печатается*).

В. К. СТАНЮКОВИЧ. Фонтан. дом Шереметевых. Ц. ...

М. С. КОНОПЛЕВА. Дом Шуваловых. Ц. 50 к.

К. В. РУБЕЦ. Дворец Меншикова. Ц. 30 к.

А. В. КАРЛСОН. Летний сад при Петре Великом. Ц. 50 к.